



## Т. А. КОШЕМЧУК

### «Pro» и «contra» в жизни М. Волошина

Елена От<тобальдовна> рассказала мне свой поразительный сон о Вас, состоявший лишь в упорном требовании от Вас ответа: «Макс, скажи имя своё!.. Ну скажи же свое имя!..». Не правда ли, удивительно? Мы все Вас решаем, как загадку, и все никак решить не можем. В самом деле: — Кто Вы? Что Вы?

*А. М. Петрова — М. А. Волошину  
30 июня 1915 г.*

Отмечено одним из авторов предложенного читателю сборника: Волошин первого творческого (довоенного) периода как будто сам подталкивает современников к несерьезному к себе отношению. Без сомнения, восприятие читателями и слушателями его идей под знаком «contra» самому Волошину с ранней юности казалось позитивным: это было для него нечто лучшее, чем молчаливое (а значит, безразличное) согласие; протест, несогласие, негодование, вызванные его мыслями, принимались им как знак равнодушия; резкая эмоциональная реакция на его слова означала, с его точки зрения, что высказанные им мысли задевают человека, входят в жизнь и действуют в душе бессознательно. О подобном Волошин говорил и писал многократно, начиная с первых парижских лет; так, например, он сообщал о своей парижской лекции, посвященной Некрасову и А. К. Толстому: «Успех был полный: т. е. вся русская колония только и делает, что ругательски ругает меня» (письмо Е. С. Ляминой 16/29 января 1902 г.) (СС, 8, 698). В этой шуточной фразе действительное довольство результатом: «главным образом тем, — пишет Волошин, — что мне удалось всколыхнуть русских студентов и заставить их волей или неволей познакомиться и заинтересоваться насущными вопросами Европейской мысли» (СС, 8, 699). Постепенно, однако, накапливалась усталость от отрицательных отзывов точнее, от их практически-жизненных последствий для автора, жившего литературными гонорарами, но и в 1915 году, в иной тональности, мысль варьируется — по поводу неприятия «Ликов творчества»: «Для моего литературного самолюбия, если хотите, это

скорее даже лестно». Но далее, увы: «...с точки зрения возможности иметь газетную работу (единственная, которая может дать какой-нибудь заработок) — убийственно» (СС, 10, 291). Очевидно, что эта позиция, которую Волошин многократно высказывал, — его удовлетворение отрицательным восприятием, явная, вне всяких самолюбивых оттенков, радость по поводу читательских возмущений задевали рассерженного собеседника еще сильнее. Объяснением загадки волошинского удивительного добродушия по отношению к неприемлющим его мысли стало слово «парадокс», казавшееся исчерпывающим: *это все Ваши парадоксы...* — стоило собеседнику поэта сказать так, и мысль, тревожащая своей самобытностью, как будто обезвреживалась для сознания и оставалась, по Волошину, лишь в глубинах души внесознательно ведущей свою незаметную работу. И эта работа — здесь мысль поэта созвучна высказанным Рудольфом Штейнером: значима для будущего, для будущей жизни, — это одно из сближений, изначально привлекших Волошина к антропософии: восприятие им идей как реальной действующей силы, более существенной, чем поступки и слова.

На внешнем плане возмущение современников мыслями поэта и всей его странной сущностью связывалось с его всеприятием, интересом ко всему и сразу и позднее выражалось в воспоминаниях — в высокомерном тоне, в легком презрении, в спасительной иронии. Подобного немало в воспоминаниях о Волошине тех, кто знал его в первой половине жизни, и это лишь симптомы личной задетости непонятным и непонятым, подчас в глубинах души ощущаемым — как нечто значительное. Волошин действительно провоцирует полюс *contra* — всем своим внешним обликом и личностным стилем, и провокации поддаются многие, порой с удовольствием, упиваясь на фоне этой «шутовской» личности, — собственной серьезностью и значимостью, с враждебной ли иронией или с бесцеремонностью дружбы. И это самые разные люди... от друга — эстета Сергея Маковского до — возлюбленной, утонченнейшей Маргариты Васильевны Сабашниковой, не говоря уже о равнодушных и забавляющихся этой эпатирующей фигурой как «диковинкой». Зачем, для чего Волошин творит этот свой образ, вызывающий у Маргариты глубокое огорчение в пору ее любви к нему и безудержное раздражение в долгую полосу неприятия, у многих — яркие эмоции в одном и общем регистре — высокомерия. У любящих его (у матери, например) — досаду, ведь смеет же кто-то свысока третировать всем открытого и доступного «Макса». А современный автор (это не редкость) не может устоять перед искушением, декларируя свое к нему уважение, приводя, например, слова Б. Чичибабина «великий человек земли русской», назвать Волошина — клоуном... Всё это явления одного круга, и отчасти провокатор подобного — сам

Волошин, наблюдающий эти реакции и забавляющийся ими искренно и как будто... без капли горечи. Ведь чего стоило ему для удовольствия своей (стыдящейся его) невесты надеть для венчания — требуемый ею (для других, для внешнего взгляда) фрак. В ряде моментов этот столь мягкий человек оказывается нестерпимо тверд. Созданный внешний образ эпатажно одетого, всем интересующегося чудака-парадоксалиста последовательно проводится им.

В предвоенные годы внешний образ этот, измененный в соответствии с коктебельским фоном жизни, остался по-прежнему ярким и бросающимся в глаза. В пору духовной зрелости поэта и мыслителя, когда уже создан значительный ряд первоклассных по уровню произведений, вовне дается все тот же облик: «хитон», под которым по-прежнему не ясно, есть штаны или нет. Как воспримут это любезные современники? О, многие с готовностью все еще видят только это и предпочитают не замечать главного, а ситуация обращается на невидящих... Ведь нет ничего более чуждого и неприемлемого для Волошина, чем надменная и патетическая самоуверенность. И что же, как не розыгрыш доверчиво недалекого и самолюбиво надменного современника — это шуточное растиражированное стихотворение «Ах, как приятно быть Максом Волошиным // Мне!» — как отмечено уже — эта шутка сорокапятилетнего поэта!

### *Pro и contra* как противочувствия

Сложность картины можно показать на одном примере — конкретном эпизоде, и в нем видно: как причудливо сочетается порой приятие и неприятие самой волошинской сути — в душевных реакциях близкого и многолетнего друга. Рашель Мироновна Гольдовская (Хин) — которую Волошин ценил как последний «осколок» литературы XIX столетия и обессмертил прекрасным стихотворением «Я мысленно вхожу в Ваш кабинет...». Дружбу с ней он считал одной из важнейших. О смерти ее в 1928 году он писал как о большой личной утрате, столь же скорбно, как и об умершей в том же году Елизавете Ивановне Дмитриевой, Черубине. Симпатия этих двух людей была взаимной, общение — длительным, близким, действенным. Но вот фрагмент из дневника Р. М. Гольдовской, в котором описывается сначала «вся волошинская компания» — «сюда входит своеобразная коммуна: мать Волошина (старуха в штанах и казакине!), он сам и две сестры Эфрон — Лиля и Вера. Они живут все на одной квартире, которую они сами окрестили именем: «обормотник»». К нему отнесены и сестры Цветаевы с мужьями и детьми. Там читаются стихи: «...читал и Макс — как всегда хорошо и как всегда аффектированно, он отчеканивал каждое слово. Милый, добрый, ла-

сковый, всезнающий, всех любящий — и ко всем равнодушный Макс!.. Ученый эклектик, перипатетик, поэт, художник, философ, хиромант и божий человек, юродивый «без руля и без ветрил» — русский «обор-мот» с головой Зевса и животом Фальстафа. Все они точно не живые, какая-то любопытная нелепость... Они ходят, говорят, декламируют, сочиняют, пишут, танцуют, бракосочетаются, рожают детей, едят, пьют, курят папиросы...»<sup>1</sup>.

Но в иной, теплой и дружеской тональности, без высокомерной отстраненной иронии — письма к Волошину<sup>2</sup>, например, почти того же времени (январь 1914 года): «Спасибо еще и еще, милый мой Макс, мой старый друг. Скучно без Вас. Все Вас целуют, и я также. Ваша Р. Г.» . Или через год (февраль 1915 г.): «Милый, милый Макс, — я так рада Вашему письму, как уже давно ничему не радовалась. С тех пор, как мы обменялись последними письмами, прошло всего 7 месяцев (по календарю) — а на самом деле прошли века... Мне кажется, что с этой войной — бойней — все на свете переменилось — все люди, вся природа. Не знаю, станет ли человечество умнее, добрее, свободнее после этого ужаса, но думаю, что старая Европа рухнула — и мы с Вами встретимся, как «последние могикане» — былой цивилизации». Или (декабрь 1916) — вот фрагменты из письма, показывающие эмоциональный тон отношений: «Милый Макс, — я так давно — и каждый день! — собиралась писать Вам. Мешала — «суета дневной тревоги». <...> ...Мне так грустно по Вас, так именно Вас, тот *vieux Max* — недостает, что я раскрыла бювар, потянулась за пером, и вот пишу, хотя не знаю, что напишется. Сегодня все звучат в голове, в сердце — Ваши стихи <...> «Усталая изнемогла душа... Вином тоски и хлебом испытаний душа сыта»... Ах, милый, милый Макс, как тоскливо живется... <...> Вечером мне принесли Вашу книгу. Спасибо, *mon vieux Max*. Надеюсь, что в любви к «французской культуре» — есть капелька любви и ко мне».

Быть может, читатель подумает, что за недолгий срок изменилось отношение к Волошину, стало теплее и доверительнее? Но вот дневниковая запись о нем в Москве 1917 года: «Странное существо! Не человек, а именно существо — милое, толстое, приятное, экзальтированное, энциклопедическое, талантливое, ветхо-юное, не мужчина, не женщина, не ребенок... Он так же торжественно, как три года, как пять лет тому назад, читает свои и чужие стихи, все так же умно (и в то же время глупо) рассуждает о жизни, искусстве, войне, танцах, политике, театрах, знакомых, новых книгах, страсти, ненависти, грядущих судьбах человечества, отцах церкви, буддизме, антропософии... Он всех любит и ко всем равнодушен. Иногда мне даже кажется, что милый Макс не живое существо, а лабораторное чудо, «гомункулус», сотворенный таинственным Эдисоном по астрологическим рецептам. Я радуюсь на его

неутолимый аппетит (он может есть всегда и что угодно). Ну, слава Богу, ест! Стало быть, все-таки живой, настоящий!»<sup>3</sup>.

Если мы объясним различие тональностей тем, что одно — в личном письме (отсюда смягчение и естественная вежливость в прямом обращении), а другое в дневнике, недоступном для адресата, или что в письмах своего рода имитация симпатии (не такой уж глубокой) и неискренность, то обе версии не дадут достаточного понимания. Вот, к примеру, письмо Волошину (недатированное довоенное), в котором неприятие высказано прямо в связи с оцениваемым воздействием коктебельской жизни на сына Рашели Мироновны: «Миша не пишет. Т<ак> к<ак> я с Вами привыкла говорить совершенно открыто, то скажу, что пребывание в Коктебеле отразилось на нем настолько неприятно, что в эту зиму — я совсем не чувствовала прежнего милого умного Мишу. Конечно, в этом повинен не сам Коктебель и не Макс, а та *morbiderie*\*, которая отличает русское «обормотство» от европейской «богеми». Русское «обормотство» анестезирует душу и нужно обладать очень сильным характером, чтобы не опуститься в этой — по виду такой простой, а на самом деле — ядовитой атмосфере. Все, что я сказала, пусть останется *strictement entre nous*\*\*».

Здесь прямо высказывается неприятие игрового стиля волошинского дома в начале 10-х гг. (о нем подробно и с полным приятием писала М. Цветаева), правда, негативное воздействие как будто не относится к личности Волошина, но нетрудно заметить, что в дневнике сам он назван тоже «обормотом». Во всех приведенных здесь отзывах Р. М. Гольдовской, этих разных и одновременных гранях ее отношения к Волошину, — явны резкие противочувствия, «pro» и «contra» в душе верного волошинского друга, и сетование: странное существо... *Странное существо?* — в сущности, это сниженный до карикатуры вопрос «Кто Вы?», недодуманный вопрос об Имени. И симпатия читателя — не так ли? — ...на стороне Волошина. Не могу скрыть и личного впечатления — готовности *принять* оценку «обормотства» Рашелью Мироновной Гольдовской (ведь само словцо чего стоит!), и это почти согласие укоренено в моем не слишком сочувственном отношении к атмосфере, царившей в волошинском доме предвоенных лет, вопреки доверию к оценке ее же Мариной Цветаевой.

И вот вскоре после написанных мною этих слов, клонящихся к полюсу «contra»... — а ведь хорошо известны подобные коллизии, когда

\* *Morbiderie* — сущ. от более употребительного прилагательного *morbide* — паталогический, нездоровый, болезненный, а также: ужасный, отвратительный, мрачный (фр.).

\*\* Строго между нами (фр.).

«в ответ» на мысль — в случайно вдруг прочитанных или сказанных словах получаешь «возражение» или «подтверждение»: после этого согласия, данного мною Рашели Мировне Гольдовской, я читаю в качестве прямого (волошинского) ответа моему сомнению следующее письмо. Это реплика Волошина по поводу «обормотов» в совсем иной ситуации, речь идет о В. Иванове, и Волошин отвечает матери на письмо «с подробностями о знакомстве обормотов с Вячеславом», о «стычке» между ними. Но прежде само письмо Елены Оттобальдовны Волошиной о ситуации, в подтексте которой всем известная влюбленность Майи Кудашевой в Бальмонта и их недолгие отношения:

«...А стычка все-таки вышла, и вышла... с Лилей. <...> Майя, по просьбе Вяч<еслава> декламировала ему; после 2 стихотворений он спросил ее о Бальмонте, о стихах, ей посвященных, просил прочесть их, на что Майя ответила: не стоит, они не так хороши. — Он опять спросил: что сказал Бальм<онт> о стихах Ваших, на что был ответ скромный и тихий: я думаю, что Б<альмонт> не читал их, но сказал, что они зажгли его. Не успел замолкнуть голос Майи, как раздались слова Вяч<еслава>: Господа, послушайте стихи, которые зажгли Бальмонта. <...> Когда я почему<-то> также вышла в переднюю, то застала такую сцену: он и Лиля стояли напротив друг друга; он, бледный, пронзая взором заалевшую Лилю, говорил: “Я не беру своих слов обратно”, на что Лилия тихо с достоинством ответила: вы совсем не поняли того, что я сказала вам. Он молча продолжал смотреть на нее несколько секунд, затем повернулся и ушел. Оказывается, Лилия, движимая жалостью к Майе и А. Б. (еще одна история того вечера. — Т. К.), разъярила его замечанием, что не следовало ему повторять Майиных слов о Бальмонте, приглашая слушать ее стихи, и вопросом-укором, зачем он обеим сделал больно» (СС, 10, 282).

Волошин отвечает матери: «Какой хороший пробный камень для людей — обормоты и как быстро и сразу выявляются они. Но все, что ты пишешь о Вячеславе, так жестоко, что я не решился прочесть твоего письма, ни рассказать его содержания ни Бальмонту, ни Гольштейнам, хотя они как раз вчера меня об нем спрашивали...» (СС, 10, 281–282). По поводу самой ситуации сказана Волошиным самая жесткая фраза о человеке — из всех немногих его осуждающих фраз: «В нем (Иванове. — Т. К.) есть инстинктивный жест предательства, — тот, что сказался в первой же его фразе с Майей» (СС, 10, 282).

Нужны ли комментарии к этой ситуации? На мое сомнение дан ответ: «Какой хороший пробный камень для людей — обормоты и как быстро и сразу выявляются они». За безудержно игровым (терапевтически замысленным) стилем, заданным Волошиным, за шутками, розыгрышами — нет серьезных тем и духовного общения, нимало: все тонет в смеховом творческом потоке. Но в этом явлена человеческая

подлинность. А о духовном... — пусть не сразу, но Вера Эфрон задаст самой себе и Волошину простодушный вопрос (1913 г.): «Понимаешь ли, вся фактическая жизнь не важна. А что важно?»<sup>4</sup>, а уже в годы революции через ряд лет без встреч с Волошиным — и о Боге, богах и Троице, и появится в ее письмах «Христос Воскресе!» Посеянное Волошиным бессловесно, самим фактом протекающей в нем незримо напряженной духовной работы, одновременно с той «обормотской» игрой — взойдет. А сама коктебельская жизнь тех лет отзовется в письме Веры так: после строк о трагическом состоянии своей души она добавит: «Но недавно так обрадовалась, почувствовала тебя, Пра, жизнь Коктебельскую во плоти. И странно стало. Ведь была же жизнь».

Да, Волошин, при всей его притягательности для многих и многих, был труден в своей необычности, странности, в нарушениях общепринятого, в слишком большой свободе и в слишком широкой сфере интересов, в слишком разнообразном круге общения и симпатий, в отсутствии антипатий и — в своей независимости от всех. В формах общения — разных и творчески индивидуальных. Он развернут к разным людям разными гранями своей души и жизни и как будто ни в ком лично и особенно — не нуждается. И близким людям, любящим и преданным друзьям, с этим непросто, и непростота эта выражалась порой в противочувствиях, в досаде, ревности и даже раздражении, за которые не стоит их осуждать: не всем и не всегда посильна волошинская многогранность и своя — *лично моя* как будто не-выделенность среди других из его круга, его не-принадлежность себе — *мне лично*, — эта удивительная и несокрушимая цельность: монолит — так сказал о Волошине его близкий друг А. Пешковский, да: *монолит* в тысячах граней.

### Полнос *contra* и волошинское мировоззрение

Не только в сфере быта и стиля, не в поведенческом только и в душевных реакциях, часто спровоцированных этим испытателем характеров и судеб, самим Волошиным, неустанным экспериментатором в кармическом поле жизни — трудности восприятия личности Волошина и его творчества кроются порой в самих его идеях, в сфере духовной. Он предлагает свои идеи — потоки прозрений — в беседах, письмах, статьях, не заботясь о способности их переварить? — или как раз взвешивая, предлагая, проверяя? — но слишком часто очевидна их непосильность для собеседника, даже в форме образа, сказки, мифа. Например, юной Цветаевой Волошин говорит о духах воды, воздуха, огня... — и ею приемлетя как поэзия то, что для волошинского духовидческого взора есть реальность каждого дня. Или он не раз напрямую сводит вместе

кажущееся несоединимым, но для него взаимопревращаемое: жалость и жестокость... Или в репинском скандале именно Репина, изобразившего неправдоподобно кровавую сцену, называет виновным перед бросившимся на его картину с ножом — не выдержавшим ее А. Балашовым. Он всегда созерцает происходящее со своей «колокольни», весьма высокой, — откуда видно, например, что мировая война — не борьба наций, а столкновение *государственно-промышленных осьминогов*, злобных существ вроде левиафана, — и как с этим быть собеседнику, охваченному пафосом горячего национального чувства? Он чаще всего отторгает нестерпимую волошинскую идею — возмущением, а Волошин в этой задетости видит симптом действия идеи и ее пробуждающей продуктивности в душе негодующего, — для которого есть один удобный выход: объявить идею парадоксом: «Это всё Ваши парадоксы!» Но и для близких по духу часто непривычен и... парадоксален мир волошинских мыслей, который представляет собой устроенное целое, создаваемое на основе своеобразной и творческой познавательной metody, органически вырастающее из нее. Пути постижения этого целого непросты и для близких, слишком часто не склонных им следовать. Действительно немногие шли волошинскими путями, с немногими были встречи как с равными на созвучных путях.

Об этом в эпизоде, опять же связанном с В. Ивановым и с кругом ближайших друзей. В многократно и подробнее описанной драме на «башне» важно, что Иванов, вторгаясь в самую духовную основу союза Волошина и Сабашниковой, предложил ее очарованной душе, восприимчивой к этой компрометации, свой тон отношения к Максиму в словах к нему: «Я тебя люблю, но не уважаю», — и убедил Маргариту, что она и Волошин — духовно чуждые друг другу люди, а «браки между иноверцами недействительны»<sup>5</sup>. И прежние слова любви из переписки Волошина и Маргариты сменились словами о «чуждости» — этот мотив часто звучит, например, в письмах М. Сабашниковой к А. М. Петровой. Водораздел в жизненной драме проходит в сфере Эроса: Иванов задает жизненный импульс глубинного и напряженного дионисийства, горения страстей, экстаза, заражая этим люциферическим жаром своих подданных и приближенных, прохватывая им и судьбу, и жизнь, и стиль их поведения, и творчество, и мировоззрение, — и в Волошине они видят теперь, по контрасту с Ивановым, — скупость, не-жизненность, внеэротичность, не-мужественность. Любящие Иванова женщины, не только Маргарита, но и Евгения Герцык, и Аделаида Герцык в результате преисполняются к Волошину высокомерного или снисходительного презрения, стрелка с «pro» переводится к «contra».

Собственно, Волошин о сути произошедшего между ним и Маргаритой писал задолго до того, точно характеризуя свое чувство: «Может, любовь

и не такая... Но во мне все сияет благословением к тебе...»; «В любви есть власть и требовательность. Во мне нет ни власти, ни требования... <...> Любовь — безжалостна... Во мне этого совсем нет» (СС, 11–1, 421). И еще: «Любовь для меня не является высшим чувством в жизни, перед которым все остальные чувства должны покорно склониться, как перед властелином. Может, это человечески — преступно. Но у меня так» (СС, 11–1, 571–572). Уже по завершении драмы Волошин скажет об *оскорбительности* для женской души такого его чувства. Но тем не менее это неколебимо и неизменно («монолит»).

Из опубликованных писем Маргариты ясно, что она действительно любила Волошина, вот тон ее писем до «башни»: «Дай я положу голову к Тебе на плечо. Она разрывается от мыслей, впечатлений и чувств, положи Твою руку на мой лоб; вот так; у меня очень болит голова. Но когда Ты со мной, все проходит, Макс мой. Как странно тихо у меня на душе, когда Ты рядом» (1905 г.). И в конце письма: «Милый мой, до свиданья. Не тоскуй без меня. Я Твоя, с Тобой. Когда мы встретимся, все будет хорошо. Прощай, мой Макс, моя радость» (СС, 11–1, 601–603). И то, что было изначально принято в Волошине Маргаритой, после встречи с В. Ивановым оказывается отвергнутым. Вот письмо ее к А. М. Петровой 17 февраля 1909 г.: «Я видела Макса; он проездом в Петербурге был у меня недолго. Хороший, добрый, благородный он человек, но мне чужд органически как внешним, так и внутренним существом своим. Испытания жизни как будто не отразились на нем; все он играет теориями, увлекается бездушными французами и словами, словами... словами. Он, как варвар, любит блеск культурных изделий, но не в меру навьючивает этими блестящими своими произведениями и совсем, совсем не хочет понять скромного и великого в мысли. Мысль сама по себе ничто, она должна служить чувству правды, иначе она будет служить темным силам, которые хотят завоевать мир. Макс же обольщается всякой эффектной мыслью и эффектными словами, поклоняясь им, как кумирам. Честный безукоризненно в жизни, он в мысли шарлатан. Я вижу, какие вредные идеи проходят через его статьи в мир...»<sup>6</sup>. Чуть позже: (10 мая 1909 г.): «...веры наши разные и пути разные». Через год: (23 марта 1910 г.): «Если бы Вы знали, как он все не верно видит и не верно передает. Этот «добродушный», «благородный» Макс, говорящий о жалости и жертве — ох, если бы Вы знали, как он поступает в жизни, к какому отчаянию он приводит людей своими жертвами. Он ни для кого ничего сделать не может <...>. ...у меня не осталось после этой зимы уважения к нему, как мужчине, я его презираю со всеми его фразами и жертвами. Бог с ними, с поэтами»<sup>7</sup>. Маргарита смягчилась к Волошину лишь после... пощечины Гумилеву и дуэли: «...сегодня он реабилитировал себя в моих глазах.

Он публично ударил Гумилева, за то, что тот распространял грязные вещи о Елиз<авете> Ив<ановне>. Наконец Макс понял реальность! И если бы Вы знали, как я приветствую этот поступок (Вот те и христианская душа!). Именно Макс этого нужно было. Теперь он имеет права и обязанности. Раньше он ничего не понимал»<sup>8</sup>.

«Неуважение» к Волошину как к «мужчине» рождается именно в кипящих страстях «башни» — из-за его «скупости», то есть «не-расточения» души, из-за полного отсутствия у этого *фанатика свободы* (как назвала его Маргарита) жеста захвата, завоевания и — защиты *своего*. Любовь к В. Иванову не терпит одновременно и Волошина, здесь противостояние предельно. Оно кульминирует в невысказанном ими, участниками драмы, но в ясно обозначенном А. М. Петровой, лучше всех знающей душу Волошина (о ней речь впереди, ее понимание своего друга заслуживает доверия): то, что называется неохристианством у В. Иванова, есть в действительности «неосвидригайловщина», как пишет она Волошину в 1910 году: об опасных «опытах», «что производились на «башне» искушенным и далеко не невинным Вяч<еславом> Ив<ановым> над детски-невинными Вами и Марг<аритой> Вас<ильевной>»<sup>9</sup>.

В ответ на характеризующие заряженную ивановскую атмосферу слова Маргариты о том, как «весело» «плясать между кинжалами», Волошин отвечает: «Мучение и страдание только тогда велики, когда они — одно мгновение. Иначе это невращения, а не трагедия. Весной на Башне была невращения... После твоего последнего письма снова поднялось во мне это ощущение «едкости» жизни Ивановых... Мне кажется, что тебе сейчас гораздо ближе они, чем я. Их жизнь, а не моя.

За это время я полюбил тебя гораздо больше, глубже, мучительнее и беспокойнее, чем раньше. Мои внутренние требования к тебе и к твоей любви увеличились. Как сложится наша жизнь — не представляю. Но свою жизнь я буду теперь беречь, потому что знаю, в чем она и в чем ее сила и равновесие, которые я потерял было эти годы. Я не хочу трагедий и плясок между кинжалами. Я хочу эпически ясного свободного подъема, хочу строгого ритма в работе и жизни. Пляски между кинжалами чужды всему моему существу — и я лучше буду жить один»<sup>10</sup>. Расхождение оказалось глубоким. Маргарита на годы и годы была проникнута неприятием и самой личности Волошина в ее существо, и его творчества, его мыслей, стихов, живописи. Даже осознание ивановского отношения к людям как *преступного* ничего не смогло в этом изменить. Вернуло Маргарите глубокую и приемлющую оценку Волошина — иное, то, что есть духовный плод, результат, итог — личности, позиции, усилий и трудов — осуществленного дара. Это само волошинское творчество — именно оно стало убедительнейшим аргу-

ментом в противостоянии с В. Ивановым — книга стихов о революции «Демоны глухонемые».

Та же линия от изначального духовного родства к высокомерному пренебрежению в годы под знаком Вячеслава и к итоговому приятию просматривается, пусть и в ослабленном виде, в силу большей отдаленности, и в жизни сестер Герцук. И здесь «люциферическая» (по позднему слову Маргариты) духовность, идущая от Иванова, послужила контрастным фоном и испытанием для приятия Волошина. Начальная внутренняя близость проявлена, например, в письме Аделаиды Герцук к Маргарите Сабашниковой а сентябре 1907 г.: «Вчера вечером пришло Ваше письмо о молчании, о венках и телеграмме осторожной и оглядчивой... (от В. Иванова. — Т. К.). Какая у Мак<симилиана> Ал<ександровича> свободная, безоглядная душа по сравнению с Лидией и Вяч<еславом>!»<sup>11</sup>. Поллюс *pro* в отношении к Волошину сестер Герцук исчерпывающе показан в статье Т. Н. Жуковской. Но важно акцентировать и яркие штрихи к поллюсу *contra*. Так, в 1908 году после сближения с Ивановым А. Герцук пишет В. С. Гриневич: «Скажи Макс, что я умиленно о нем думаю, но если б он знал, как нежно человечно, безумно становится, когда с него переходишь на Вячеслава!» (СГ, 101). Еще ярче Евгения Герцук в письме самому В. Иванову в 1910 году очерчивает их резкое противостояние, свою полную приверженность ивановской духовной позиции и решительное неприятие волошинской: «Эти дни у нас живет, у нас ночует Макс Волошин, и от него у меня мучительное чувство. <...> ...с Максом мне облегчает отношения та внутренняя, глубокая и явная рознь, кот<орая> у меня с ним *во всем* и о кот<орой> мы открыто говорили. Всего кошунственнее мне его отношение к женщине (“запах лилии и гнили” — у него такая новая строчка). И со своим неверием в возможность, со своим нежеланием преобразования, μετάνοια — он стоит на противоположном полюсе, непримиримом. Но пусть он и враг, пусть это открыто сказано и нет компромисса, но все это слишком отвлеченно и возвышенно, а мне просто по-человечески тяжело его присутствие там, где Вас любят, где Вами свято. Я не знаю, как он к Вам относится <...> — но в том, в полярном Вам, в ненавистном мне — в нежизненности, безбрачии, одинокости, скупости — он утвердился еще более» (СГ, 589).

То же пренебрежительное отношение к Волошину и в письме 1914 г. Е. Герцук к В. С. Гриневич: «Был Макс неск<олько> дней, сегодня утром уехал, бледный, кроткий, ненужный. Едет в Dornach к Штейнеру» (СГ, 533). Его разделяет и А. Герцук: у нее вызывает опасение волошинское приятие антропософии и его пребывание в Дорнахе, ей кажется, что душа его “угаснет”, она его предостерегает... от Штейнера. А. Герцук —

Волошину 11 (24) января 1915 г.: «Вообще — что-то чуждое, *не Ваше*, навязанное Вам почудилось мне в Ваших мыслях. И горячо захотелось, чтобы Вы уехали из Дорнаха, из душной, невольно принижающей индивидуальность атмосферы (мне она представляется такой) в милый, свободный и героический Париж. <...> Алексей Толстой как-то сказал, что боится, что Вы «потеряли свою душу», но я знаю, что Вы сохранили ее, а если и затмится она на время, то Вы всегда найдете ее вновь неискаженной в своих картинах и стихах» (СГ, 157). Конечно, здесь звучат мысли не самой А. Герцык («мне она представляется такой»), но она идет на поводу у Бердяева, «боровшегося» в то время с антропософией — когда он слушал лекции Штейнера, и «сражавшегося» также за то, чтобы «защитить» от антропософии Евгению Герцык. Его вывод поражает безосновательностью: он не увидел в антропософии — человека. В «Самопознании» резюмирует он именно это: антропософия разлагает цельность человеческой личности, растворяет ее в космической стихии. У В. Иванова и Бердяева отношения к антропософии чрезвычайно напряженны — и отраженно передает это А. Герцык в странной заботе, как бы *не угасла* волошинская душа (!) — в тот час, когда в волошинской душе рождался тот голос, которым заговорил — словами автора одной из статей антологии — Архангел России! А полагание, что антропософия угашает индивидуальность — более несоответственное суждение об антропософии просто трудно изобрести (при желании, Штейнера можно было бы с большим основанием упрекать в противоположном). За этим казусом — суждением об имперсонализме антропософии, ставшим далее общим местом, — стоит не знание дела, а собственный бердяевский философский эгоцентризм, нежелание вникать в чужую мысль ради ответственного суждения. Все то, что вне собственной главенствующей мысли — единственного, как правило, прозрения, глубинно пережитого, — будь то дионисический восторг Иванова или абсолютность творчества у Бердяева — отторгается как чуждое. Ударенность своей малой и частной правдой — вообще есть питательная почва для русской позиции «CONRA», причем самой жестокой и слепой, самой фанатичной из всех. Она рождает удивительное равнодушие к истине, эгоцентрическую невосприимчивость к потокам интуиций, идущим через антропософию. Аргументы неприятия могут быть почти случайны и совершенно неуместны, например — угашение личности в антропософии, тогда как именно антропософия, разрешая нерешенную на иных путях ключевую проблему «Я», как раз разворачивает невиданное ранее восшествие человеческой индивидуальности, божественной и бессмертной монады, через ряд воплощений (жизней в своих душах и телах как временных и творимых оболочках) — к самой себе, изначально сущей.

В случае В. Иванова — его *contra* к Волошину вытекает из того же источника, эгоцентризма своей дионисической идеи, ушибленности ею и отсюда из искажения масштабов своей собственной перевозносимой личности. Его столкновение с антропософией связано именно с глубинными личными амбициями: он сам себя мнил человеком духовной миссии, и Р. Штейнер стал тем, кем Иванов сам хотел стать — вождем духовного движения. Это новый факт, который еще не был учтен во всей его значительности. Т. Н. Жуковская ввела в научный оборот тот материал, который подтверждает неопровержимо претензию Иванова на роль современного духовного и мистического учителя нового типа. Об этом говорят письма Е. К. Герцык к самому Иванову и В. С. Гриневич, и этот факт многое раскрывает. Срывом для Иванова стало само явление Штейнера, с которым он вступает в яростный спор, рассчитывая опровергнуть антропософию. А. Р. Минцлова стремилась приобщить Иванова к антропософии, но в целом ее постигла неудача, и итоговой катастрофой в этом сюжете стал отказ Штейнера во встрече Иванову, который через Белого хлопотал о ней. Выход для Иванова был бы найден, если бы Штейнер признал его как *русского оккультиста*. Но этого не случилось. Отказ был передан Белым мягко, но был очевиден, и Иванов навсегда замолчал об антропософии. Удивительно, но факт: более он к этой теме не возвращался. На том кончились и все его претензии на роль духовного вождя. В передаче Аси Тургеневой причина отказа: Штейнер просит отговорить Иванова от встречи, потому что Иванов совершенно не способен к оккультизму.

Вот свидетельство Е. К. Герцык об ивановских претензиях 1908 года: «Он хочет и верит, что будет религиозным реформатором, он уже намечает себе новый, небывший путь в мистике — не одинокий, а общинно-мистический... конечно, я верю, что он создаст религ<иозное> движение, поведет за собой» (СГ, 508). Евгения Герцык пишет о споре Иванова и Минцловой, в котором, по ее словам, «он беспощадно разбивал всю современную теософию. Это было по поводу одной лекции Штейнера <...> а потом стал говорить, гениально и справедливо низводя Штейнера, упрекая всех этих теософов <...> в недостатке мистическ<ого> чувства» (СГ, 510). Ситуация разительна: *неспособный к оккультизму* стремится уличить гения оккультизма в недостатке мистического чувства! Удивительно и ивановское нечувствие к плодам мысли в сравнении себя со Штейнером: более ста лекций, прочитанных только в этом (1908) году составят несколько томов полного собрания сочинений Штейнера (всего более 350 томов, публикация которых ещё далеко не завершена), что неизмеримо перевешивает те несколько статей, где Иванов предлагает свои «оккультные» достижения. Но амбиции несостоявшегося вождя духовного движения огромны, и напряженнейше переживает Евгения

Герцык эту «священную» для нее зиму 1908 года — когда личное чувство смешивается с религиозным благоговением, с верой в великую миссию того, кто и учитель, и возлюбленный, и в этом люциферическом восторге возносящейся души — Волошин представляется бледным и ненужным.

То же и в ивановскую полосу жизни А. Герцык, когда, по словам Маргариты Сабашниковой, «Вячеслав затягивает и ее», а она «не видит, каков он», — это слова уже все понявшей Маргариты, «отряхнувшей прах» со своих ног<sup>12</sup>. А. Герцык пишет А. М. Петровой (ноябрь 1914 г.) примерно то же, что самому Волошину, но острее проявляется ее неприятие:

«Страшно хотелось бы знать, неужели штейнерианцы продолжают воздвигать свой храм? Где наши русские? Я думаю, что Макс переехал в Париж и будет писать корреспонденции или поступит во франц<узскую> армию. Имеете ли Вы весть от него? Я читаю теперь мистерии Шт<ейнера>, кот<орые> ставились в Мюнхене, и они мне многое вскрыли в нем непонятого прежде. О многом хотелось бы поговорить с Вами». Еще очень важный факт для понимания ситуации: А. Герцык глубоко погружена в стихию народного подъема, с огромным чувством переживает события. Отсюда ложное ожидание — от Волошина — рыцарственности, как она ей представляется, участия в защите Франции от немцев, — но этот миф совершенно не близок Волошину, разочарование Аделаиды глубоко, и обманутое ожидание сказывается в неприятии волошинской позиции — его отрицания войны. Далее в письме: «Получили ли Вы известия от Макса? Две недели назад Ел<ена> Оттоб<альдовна> получила от него *первое* большое письмо и принесла его мне. Ужасно странное и, сознаюсь, несимпатичное впечатление производит это письмо. Ясно, что он стал горячим штейнерианцем...». Читатели могут прочитать «большие» письма этого времени от Волошина — и матери, и А. М. Петровой, и Ю. Л. Оболенской... — о его взгляде на войну из Дорнаха и судить, насколько они «несимпатичны». Очевидно, что Волошин совсем не разделяет того, что воспринято А. Герцык как *великий опыт*: возрождение России, когда можно *гордиться родиной*. Далее в ее письме: «...и это (штейнерианство. — Т. К.) наложило на него печать <нрзб>, нивелированного среднего благоразумия, рассудочности. <...> Более всего старается он о том, чтобы сохранить «справедливость» и «разумность» среди противоречивых газетных сведений (будто сама война не есть безумие и несправедливость!!) и в этих стараниях утратил свою самобытную индивидуальность. Почти жалеешь о его прежних парадоксах и заблуждениях!»<sup>13</sup>

Видно, как глубоко не созвучны переживания и оценки этих двоих людей. А. Герцык проживает войну в России и изнутри России, глубоким

чувством, Волошин — в центре Европы, для него главное — понимание происходящего, воздействие на действительность — пониманием. Он живет среди русских и немцев, так что для него в ежедневной жизни нужно удержать себя от враждебных чувств, сохранить братство — и действительно: справедливость. И это при нелюбви Волошина даже к лучшему в немецкой культуре. В ситуации, когда вся пресса пишет о «зверствах» немцев, и в это безоговорочно верят, Волошин подчеркивает лживость прессы и очевидность преувеличений.

Итак, между А. Герцык и Волошиным в оценке войны несовпадение радикальное, и преодоление его, сопряжение двух позиций, — без долгих дружеских бесед невозможно. И эмоциональная реакция ее — в духе ивановского отношения к «заблуждениям» Волошина, это высокомерное слово звучит и здесь, и повторяется его же обвинение в адрес антропософии — угашении индивидуальности: «Ах, эта ужасная штейнеровская обезличивающая, обесценивающая все конкретное и индивидуальное — мистика!, о кот<орой> мне так и не удалось поговорить с Вами, и кот<орую> я особенно ощутила в его мистериях!»<sup>14</sup> — здесь А. Герцык договаривает недосказанное в предыдущем письме, так что оказывается, увы: сквозь мистерии Штейнера она почувствовала... обесценивание индивидуального. А в своем друге — надменно: *утрату* индивидуальности.

Итак, неприятие антропософии в Волошине (вслед за Ивановым и Бердяевым) создает этот напряженный момент в отношениях дружбы. В предыстории же 1908 год — совместное с Волошиным чтение штейнеровских лекций и беседы о них, и 1913 год — попытка Евгении Герцык заглушить свою драму с Ивановым, крушение всех ее надежд (его женитьба на падчерице Вере Шварсалон) и утешиться — в теософии ли, или в антропософии... разумеется, это была обреченная попытка спастись от глубокой тоски — в каком бы то ни было учении, когда критерием истинности его становится собственная безутешность.

Но неприятие скрыто за прежним и как будто по-прежнему дружеским общением сестер Герцык с Волошиным, и оно проходит — вместе с очарованием Ивановым. Все же кажется, в жизни тех, кто прошел через это горение страстей в сфере *камы* (об этом ниже) как через самое яркое переживание в своей судьбе, — следы этого опыта не изживаются до конца, и Волошин для них свидетель их страданий. И не им дано будет разгадывать то его *имя*, о котором спрашивала Е. О. Волошина в своем пророческом сне.

Все же изменятся оценки произошедшего с освобождением от ивановского захвата, «преступного», если выразить это поздним Маргаритиным словом, воздействия на волю зависимых — отсюда, забегая вперед, и «ненависть» к Иванову, единственный случай, когда Волошин ска-

жет это слово, впрочем, при многогранности отношения к Иванову. Легче всего освободилась — А. Герцык. Это подтверждается ее прощальным письмом к Волошину в 1915 году: «Майя встретила у нас с Вячесл<авом>. Он слушал ее стихи, и потом она была у него один раз. Не бойтесь за нее, он перестал быть отравляющим и все больше обращается в добродушного буржуа, хотя любит порой по-прежнему поиграть людьми и полицемерить» (СГ, 158). Стоит обратить внимание: это как раз тот уже отмеченный и характерный эпизод, о котором говорили Волошин и Елена Оттобальдовна: вынужденное чтение Майей стихов — ивановский «жест предательства». Ситуация здесь обозначена безоценочно: *слушал ее стихи... как мэтр* — впрочем, любящий *поиграть людьми*. Но это Аделаида — а Евгения Герцык до конца не сказала об Иванове осуждающего слова, из верности ему или из гордости? Под этим знаком стоило бы взглянуть на ее воспоминания о Волошине.

*Pro* к Волошину утверждается для сестер Герцык в 1915 году благодаря его стихам о войне («Anno mundi Ardentis»), которые получают у них самую высокую оценку — и прежде всего потому, что в них появляется прежде не бывшее у Волошина, — тема России. Революция приносит еще более глубокое приятие — мыслей и творчества, и всего строя жизни Волошина: «...они (стихи Волошина. — Т. К.), м<ожет> б<ыть>, самое нужное теперь в России. <...> Как хорошо, строго и значительно Вы живете и творите...» (СГ, 546); «Мы с сестрой горячо сочувствуем Вашей идее издать книжку стихов о революции; думаю, что Вы можете написать ее всю сразу, и она будет заклинанием действительности, противопоставлением ей, ибо углубит ее эзотерически... Скорее бы!» (СГ, 167). Позднее (1923 г.): «Дорогой Максимилиан Александрович, так много хотелось бы сказать о Ваших «Путях Каина» и особенно о «Космосе», но знаю, что не смогу. Сегодня перечла все, и у меня завертелись в голове «истины, сошедшие с ума». Дух захватывает — как лавина, обрушиваются все эти мысли, правды и неправды, чудовища, парадоксы и высшая мудрость <...>. Вы делаете то, чего никто не делал еще в поэзии и потому творите новые ценности» (СГ, 555). Приемлется теперь и глубоко понимается не только творчество и мировоззрение, но и сокровенная волошинская над-человечность, его духовные дары: 10 февраля 1925 года: «Я, как и С<офья> Я<ковлевна> (речь идет о С. Парнок и ее подруге. — Т. К.), верю в силу Вашего воздействия в духе и в то, что мыслью своею Вы поможете Л<юдмиле>» (СГ, 558). Или: 15 июня 1926 года: «Вот Вы сейчас многими окружены — так хотелось бы, чтобы Вы не выпускали из рук легкой, легкой нити (им вовсе незаметной) водительства» (СГ, 561). Добавится и личная благодарность за жизненно важную помощь во время голода. А. Герцык 22 декабря (9 декабря) 1921 г.: «Вы буквально спасли нас, т. к. деньги

пришли в момент полного истощения всяких средств к жизни, и мы питались картофельной кожурой, которую выпрашивали у чужих» (СГ, 173). Конец 1921 г.: «...находим случай сказать Вам нашу бесконечную взволнованную благодарность. Все это, эту московскую помощь вызвали Вы — наш истинный друг. Наше положение, правда, временами трагическое» (СГ, 548). Характерно, что Иванов, живущий в это время в Москве, не принимал никакого участия в *московской* помощи голодающим в Крыму друзьям, когда-то близким и любящим его.

Лаконичнее можно сказать о Маргарите: уже в годы революции прочитав стихи Волошина, она — лишь тогда написала свое весомое и итоговое: «Ты победил».

И здесь — в отношениях с этими тремя замечательными женщинами — одна из лучших побед Волошина.

### Кама и манас

Но еще глубже, чем в сфере личной, противостояние самих духовных позиций Волошина и Иванова — здесь речь пойдет о *pro* и *contra* в отношениях равных собеседников. И здесь разворачивается действительно захватывающий сюжет. Драматические коллизии и расхождения остались в прошлом, и в 1910 году после выхода первого сборника Волошина он и Иванов обмениваются письмами. Волошин посылает Иванову свою книгу стихов и надписывает ее четверостишием:

### ВЯЧЕСЛАВУ — МАКСИМИЛИАН

Еще не отжиты связавшие нас годы,  
Еще не пройдены сплетения путей:  
Вдвоем, руслом одним, — не смешивая воды,  
Любовь и ненависть текут в душе моей.

И если Иванов, стремясь, вероятно, победить великодушием, в ответном послании акцентирует «любовь», за это слово благодарит, а о втором, о «ненависти», с велеречивым умолчанием: «Другому же голосу говорю: “Да не будет! Да обличится и претворится в тебе все, как во мне все обличилось и претворилось!”» (СС, 9, 538–539). Но в конце письма неожиданное — после прохладной похвалы и далее критики — за не-расточение души, за не-щедкость («Книга <...> учит поглощать мир, а не расточать свою душу. Моя критика: научись быть щедрым, чтобы петь, как поет птица») он как бы спохватывается. Ведь неприятие Волошиным — Иванова именно в этом: в расточении и «птичьем» пении души и отсюда в безответственности за чужие души. Вячеслав в своем

уповании на преодоление «ненависти» и даже в поучении, с собственным примером, взывает к тому, что было глубинной причиной расхождения. Волошин не принимал именно этой душевной «щедрости», которая агрессивно подчиняет себе в своих минутных порывах чужие души и искажает жизни. И, словно спохватившись и оставив свое вещание, Иванов добавляет: «*И прости мою неправду*» (СС, 9, 539). Что ж... лишь эти слова весомы в ивановском письме.

В ответе ему Волошин отрицает право Иванова на обращенные к читателю предостережения от его позиции, которые понятны ему, но не понятны читателю без подробных обоснований. Но также он формулирует равенство их и единственную значимость друг для друга: они говорят на одном языке, их взаимопонимание в духовной области уникально и другим недоступно: «Недоумение Кузмина <...> перед тем, что он называет моим “окультизмом”<sup>15</sup>, свидетельствует, что эта самая важная сторона моей лирики (и “опасная”) останется темна, б<ыть> м<ожет>, для всех, кроме тебя» (СС, 9, 538). Но именно в оккультной области пролегает и глубинное различие между Ивановым и Волошиным, далее именно это предельно ясно и кратко формулируется в волошинском письме: «Я же стою на том, что *лирика не должна быть прикована к сфере Камы, а должна захватывать Манас, и моя точка зрения всегда оттуда*» (СС, 9, 537–538). Здесь очень высокая и ответственная самооценка: Волошин, по сути, называет себя поэтом Самодуха. И — рикошетом — характеризует от противного поэтическую позицию Иванова и его «жизненный» дионисический принцип как *прикованность к сфере Камы*.

В противостоянии с Ивановым кристаллизуется волошинское отношение к людям. И его понимание искусства: лирика «должна захватывать Манас». Он использует теософские термины: так, Кама — это условное наименование астральной субстанции вожделений, желаний, страстей; Камалока — это теософское обозначение той реальности, которая выражена в слове «ад»: ад как пламя неутоленных вожделений и страстей, как место, где они в муках сгорают без возможности утolenия. Прижизненная Кама — это выпущенные на волю страсти и хотения, те, под знаком которых разыгрывалась драма на «башне»; и Эрос, пронизывающий эту драму 1907 года, какой бы высокий смысл не пытался вслед за В. Ивановым вложить и Волошин в это слово, называя сущность происходившего, — пребывает в сфере Камы, низшей астральности, в которую вовлекается и низводится высшее для ее теоретического и духовного оправдания (в этом исток ивановских дионисийских теорий). И лирика как «расточение души» тоже пребывает здесь — для Волошина же лирика должна Манас — «захватывать»: не всецело стремиться быть в нем, но включать в себя его токи.

Манас на теософском языке есть через работу Я претворенная астральность; Манас связан со сферой ума, мудрости, он есть по-русски: Самодух (немецкое: Geistselbst), это еще один термин теософии, означающий в строении человека, его телесности как сложного целого, — тело сознания. Оно не есть наличная реальность, каковой является телесность физическая (материальная), эфирная (тело жизненных сил) и астральная (чувства и вожделения), но постепенно созидаемая человеческими усилиями. Культура Самодуха — впереди, это далекое земное будущее (миссия его осуществления отведена славянской культуре), его предстоит развить в себе человеку в результате деятельности Я, работы самосознания, просветляющей и трансформирующей астральное, и первый уровень этой работы — развитие в человеке чистого мышления, не зависящего от сферы чувственного. Волошин, имея в подтексте познанное благодаря Штейнеру, утверждает на понятном собеседникам языке, что его лирика проявляет, включает в себя работу сознания по претворению душевной (астральной) сферы. И, уважаемый читатель, мы сейчас в эпицентре волошинского духовного мира.

Вот как он сам характеризует свои термины в письме Ю. Л. Оболенской: «Принимаете ли Вы воскресение “во плоти”? В этом ведь весь смысл человека на земле. <...> Ведь мы должны просветить, одухотворить плоть, т. е. тот поток материи, который проходит через нас. Все проходящее — *собою* сделать вечным и спасти от разрушения. Именно то, что на Суд мы предстанем со всею тою материей, что прошла сквозь нас. И вот Штейнер прекрасно отвечает на это. Ведь Вы знаете теософско-индусское деление на семь тел, т. е. планов?

физическое

эфирное

астральное

Я

Манас (у неоплатоников лучше: RUTHMEIA

Будди THUMEIA

Атма THEIA)

Из них у нас развиты первых три — “Я” работает над созданием трех следующих. Астральное (страстное) переработанное “Я” становится Манасом — сознанием. Это наша эпоха. Эфирное переработанное “Я” станет Будди (θυμός — дерзание), а физическое — станет Атма (θεία — божественное). Разве в этом Вы не чувствуете глубокой истины — что именно наше материальное тело должно быть переработано в божественное?» (СС, 10, 86–87). Любопытно, что далее мысль Волошина в письме Ю. Л. Оболенской обращается — к человеческим лицам, он

уже сейчас, глядя в лицо человеку, прозревает с точки зрения этой будущей проработанности физического в духовное — сияние духа, его проблески, в теперешних лицах — слабые предвестники будущего: «Поэтому в выражениях повседневных лиц так много божественного откровения, о котором сами носители их не знают. Луч истины разлагается человечеством на радугу... нет, не лжи, а приблизительной правды. Мне радужность индивидуальных лиц дороже» (СС, 10, 87). Современники много писали о том особенном, внимательном и радостном взгляде, которым Волошин смотрел на собеседника — он созерцал эту радужность будущей преображенной телесности, когда во внешнем облике человека будет прямо отображен его внутренний мир, его мысли и переживания.

Будущее культуры Самодуха, преображенного астрального тела, тонкими веяниями вносил он и в свои стихи, которые должны *захватывать Манас*. Отсюда их своеобразная мыслительная холодность, бесстрастность, о которой самыми разными словами говорили современники. И даже если речь идет в них о сущности страстей, — не сама страсть дышит, но мыслью поэта она поднимается из сферы Камы в осознание. Он менее всего собирается *петь как птица*, и это напрасно советовал ему наставительно Иванов. Волошинский путь протекал по законам того созвездия, которое импульсирует мировоззрение математизма — чистой мысли, как это показывается в статье одного из авторов сборника, посвященной волошинскому астрософическому гороскопу. Уже в 1905 году А. Р. Минцлова сообщает Волошину о его ладони: «...линия разума у Вас громадна... И в ней оттенок необычайного благородства... Я никогда не видела такой линии» (СС, 11–1, 421). Это *благородство разума* определило и отношение Волошина к любви — здесь не Кама, именно Манас веет в тех словах Волошина к Маргарите, которые были приведены выше, и эти же холодноватые тоны чувствуются в звучании провидчески воспринятого Аделаидой Герцык зимой 1907/1908 г.: «Сегодня, говоря с Вами, я вдруг на миг реально почувствовала Вашу нечеловечность, Ваш великий и безжалостный дар отпадения, расставания, кот<орый> никому не дает приобщиться к Вашей душе и кладет холодящую равнодушную руку на грудь. Это мудро, и я люблю это в Вас» (СГ, 140). Аделаида Герцык ощутила волошинскую духовную особость — то, что сказалось в способности выйти из астральных *плясок между кинжалами*, решительно отвергнуть их, умение расстаться, не смотря на боль, не удерживать никого, отпустить каждого (об этом же пронзительно написала Марина Цветаева) и утвердить в итоге свою (*фанатик свободы!*) — незахваченность сферой Камы.

Волошинское редкостное умение поразительно проявлено уже в ранней юности — любить мысль и душу человека в знаке Манаса — без жара

и одержимости, присущего Камалоке; отсюда и его странные признания даже в четвертом семилетии жизни, что он *никогда не страдал*. Именно это Маргарита Сабашникова имела в виду, когда говорила о его *недоволенности* (что с удовольствием подхватили друзья и знакомые, полноценно *воплощенные*, с превосходством собственной нормальности потешающиеся над «вечным девственником»). Об этом проникновеннейше сказал Даниил Жуковский, созерцатель волошинского лика в последние его годы: «Меж тёмных тайников прошёл ты втихомолку...» Проходя положенное ему через боль потерь и утрат, *входя в жизнь*, он не причастился *тёмным тайникам*, и Маргарита напрасно радовалась его дуэли: он не *доволотился* в этом, но делал должное. Причем в тех формах и обрядах жизни, которые понятны участникам событий. Как ранее в разгар драмы на «башне» она же напрасно старалась *вочеловечить* его через намеренно причиняемую ею боль (ивановская школа), в чем находила даже свою миссию. И, если уж касаться этой темы: боль *воплощенности* (выраженная в слове «эротизм») не миновала его, он прожил ее глубоко (см.: «Lunaria»), и оставил в дневнике запись: он говорил об этом со Штейнером и получил от него то нужное, что могло помочь каму переплавить в Манас.

И эта волошинская особость, понятая, быть может, Аделаидой Герцык, обычно же оскорбительная для «женщин», вообще особенные отношения с собственной воплощенностью, особое стояние в жизни мира принимается друзьями с трудом, с досадой и раздражением — здесь находит питательные соки полюс «contra» в целом ряде случаев. Но в итоге кажущаяся холодной мудрость отношений, возводимых в *Манас*, заложенная как дар в Волошине изначально, усиленная трудными опытами любви и дружбы, сознательно возвращенная как проникновенное и точное *понимание* другого, украшенная всеми цветами внимательности, вежливости, бережности, заботы — дает блестящие результаты: не только целый ряд долгих и продуктивных дружб, но и социальный феномен — Дом Поэта, где всё, что от Камы, — изгонялось и где воплотились отдаленнейшие предвестия будущей культуры Самодуха. В этом же элементе чистой мысли, с которой начинается Самодух и который изначально веял и в личности, и в мысли, и в творчестве Волошина, он обретает сближение с антропософией. И когда он в 1905 году просит Маргариту перевести для него лекции Р. Штейнера, он добавляет, что ему нужно лишь главное, основную мысль, а пояснений не нужно, потому что он сам из себя достроит остальное. Ибо он мыслит *теми же категориями*. И некоторые, немногие из его друзей смогли, сумели если не пойти тем же путем познания и понимания, то распознать в нем и принять именно это как основу или хотя бы смутно ощутить — в тональности *pro*.

### *Pro u contra*: кармические подтексты

В области духовной коренятся схождения и расхождения кармических линий, отражаемые в земных отношениях как *pro* и *contra*. Прослеживая глубинные антипатии, как в случае несовместимости Бунина с Волошиным, можно ощутить это веяние преджизненного: ничем внешним не объяснить этих неодолимых токов и всплесков «*contra*», вопреки явному бунинскому стремлению к справедливости, так что рассудочные потуги на объективность лишь усиливают в нем глубинное и язвительное отторжение. Ощутимо здесь и то, о чем говорил Штейнер: в пересечении кармически сведенных нитей — в жизненных встречах, если сталкиваются спиритуальное и реальное, то эти противоположные доминанты двух личностей в своей непретворенной антипатии предопределяют полный разрыв кармических связей. Этим непоправимым будущим, невозвратимой утратой неких возможностей веет от бунинского неудержимого раздражения, не снятого даже волошинской смертью. А в его, именно бунинской, передаче волошинских слов и в приводимых им ситуациях удивляет волошинская дружественная кротость — она же звучит и в письмах Волошина к Бунину: ни одной ноты неприятия, но — открытость и готовность поделиться творчеством и мыслью. Но ничто не возымело успеха: ни волошинская симпатия, ни его стихи, ни мысли, ни щедрые рассказы из сокровищницы опыта, ни юмор, ни артистизм, ни действенное мужество — всё это фиксируется, не более, записывается Буниным и его женой, кажется, лишь для того, чтобы в этом бунинском отражении, в какой-то злобной гримасе предстать в виде карикатуры. Волошин сделал все, что мог, но не мог победить: отдельные бунинские ноты симпатии не одолели жесткого и непримиримого *contra*.

Полюс *contra* в этой ситуации, как порой и в иных, связывался и с мировоззрением — с антропософией, что проявлено в ряде бунинских высказываний: этот тип спиритуальности с ее нестерпимой конкретностью особенно чужд Бунину, что выражается в его язвительно-изысканном неприятии. Целый ряд близких друзей осуждали Волошина за приверженность антропософии. Многие из знакомых — решительно отрицали вместе с антропософией и Волошина. Но и одной руки хватит, чтобы пересчитать тех, кто действительно понимал его в этом средоточии его духа. Читатель найдет в антологии целый ряд пренебрежительных высказываний в воспоминаниях современников в адрес волошинской антропософии, вроде бунинского: «строил какой-то антропософский храм» или: «капище». С многими Волошин вовсе не касался этой темы. Так, Цветаева отмечает: об этой тайной своей

области он не говорил, никогда ни слова из всегда щедро глаголящих уст. Но читая письма Волошина к Ю. Л. Оболенской, например, мы видим, как щедро он об этом именно *говорил*, когда у собеседника возникал серьезный вопрос. И остается пожалеть, что так мало вопросов задавали равнодушные к главному друзья. Среди же неравнодушных — двойственность. Маргарита Сабашникова осуждала Волошина за недостаток антропософии, за отступления — «путаницу» и «шарлатанство», то есть за индивидуальное в ней бытие, возвращенное в собственной душе и в собственной мысли. Тем самым она отвергала главное в волошинской антропософии — но это как раз необходимый подход к ней, согласно Рудольфу Штейнеру. Маргарита же не давала Волошину права на свободу в антропософском миропонимании. Их споры завершились лишь после выхода волошинского сборника «Демоны глухонемые» — Маргаритиным признанием волошинской *победы*. В долгих и непростых отношениях Волошина с сестрами Герцык антропософия, как было отчасти показано, сыграла свою усложняющую роль, но в итоге Волошин был принят вместе с его антропософией.

Порой за жесткими мировоззренческими столкновениями, категоричными духовными *contra*, очевидно *pro* на душевном плане. Так, изумительна дружба Волошина с А. В. Гольштейн — при ее резком неприятии антропософии. Она изливает свой яростный гнев и сарказмы на своего друга, более, *приемного сына*, как она его называет, по поводу его пребывания в Дорнахе: он «сидит с немцем Штейнером» и совершенно «равнодушен к цивилизации» (СС, 10, 276) — она, эмигрантка и парижанка, страстно ненавидит немцев, как и сестры Герцык, здесь противочувствия к Волошину по конкретному пункту обоснованы тем же — неприятием «немецкой» антропософии, которая вызывает негодование как «шутовская религия» и «арлекинада», для которой Волошин «украшает храм», да и вообще как может он заниматься живописью, «когда разрушен Реймский собор» и утешение только в том, «что много перебивают немцев» (СС, 10, 275). В ответ Волошин спокойно и неколебимо излагает свою позицию, свои взгляды на войну, — никогда ни слова в досаде в ответ на гневные выпады.

Редкостное — верное и полное *pro*, охватывающее и дух, и душу, и жизнь, явлено в самых близких, долгих и преданных дружбах к Волошину на протяжении всей жизни — Александры Михайловны Петровой и Константина Федоровича Богаевского, которым был открыт и близок Волошин всеми гранями его «Я» и которые украсили его жизнь нежным и тонким пониманием и поддержкой на всех его путях. Бытийно значимая беседа длиной в целую жизнь этих трех близких по духу людей не становилась, однако, тотальным унисоном. Многие несовпадения и даже резкие расхождения преодолевались, во-

преки нередко категоричнейшим обвинениям и нападкам Александры Михайловны — по праву старшинства. И малой их доли могло хватить, чтобы разрушить дружбу, не будь корни ее столь глубоки и таинственны.

Особенный объект несогласий А. М. Петровой связан с православием: при всем волошинском творческом и жизненном переживании православия в 20-е годы *его* православие не могло не быть особенным и индивидуально окрашенным, как и антропософия: антропософия у него сходилась с православием (о чем свидетельствуют поэмы о русских святых), и православие виделось и проживалось сквозь те же, в антропософии выработанные волошинские творческие познавательные пути. И здесь сталкивались порой позиции Волошина и Петровой, как когда-то по поводу антропософии — Волошина и Сабашниковой, но никогда не переходя, как в предыдущей ситуации, — в *contra*, при всем обличительном пафосе Александры Михайловны, этой воительницы и ревнительницы православия. Привожу далее фрагменты из ее писем, иллюстрирующие эту дружбу, перипетии которой заслуживают подробнейшего рассмотрения. Общий тон ее не может не отозваться в душе заинтересованного читателя чувством благодарности к жизни, пославшей Волошину этого любящего друга, порой восхищенного, порой возмущенно негодующего, и неизменно преданного.

А. М. Петрова 13 января 1918 г. в лучшей тональности ее *pro*: «Дорогой Максимилиан Александрович! Я не нахожу слов выразить свой восторг перед Вашими новыми стихотворениями: “Из бездны” и “Преосуществление” <нрзб>. Сказать ничего нельзя; можно только восхищаться и *благоговейно* изумляться перед священным вдохновением, даровавшем нам их. Как русской, как верующей, — хочется земной поклон Вам за них... Это уже — теургическое. Исполать Вам. <...> Мне трепетно от того, что я о Вас думаю. Да хранит Вас Бог!»<sup>16</sup>. О пути Волошина она пишет в письме 4–17 февр. 1918 г.: «...страшен отъединением будет путь Ваш», и над ним звучат «дыхи мировых мыслей, с неуловимыми для “земных” началами и концами...». Здесь глубокое чувство волошинских провиденциально устроенных и вдохновляемых путей... Но порой А. М. Петрова обрушивается на Волошина с жесткой критикой за его непонимание христианства («нельзя заигрывать и с Христом, и с антихристом»), впрочем, спохватываясь: (1918 г.): «Миленький! Не сердитесь, что нашумела. Боюсь, чтобы и Вы нечто вроде “Гавриилиады” не хватили... Просто умру тогда. Такой мне гнев из-за Вашей “легкости мыслей” в некоторых отношениях. Чувствую также, что я нестерпима. *Простите!* Стар и устал Ваш друг». Особенно остры были ее охранительно-заботливые нападки во время создания Волошиным поэмы о святом Серафиме: (14 окт. 1919 г.) «Почему-то очень боюсь, что Вы напишете о Серафиме. Запало Ваше мимолетное

признание при разговоре в последнюю встречу: “мне непонятно смирение”. А ведь *без него*, по настойчивому указанию всех святых, праведников и Отцов Церкви — ни шагу вперед, и всякая иная работа ничто. Вам нужно, *необходимо* проникнуться этим. По этому именно поводу мне и хотелось бы с Вами очень много поговорить. Очень многие Ваши поступки <...> не стройны, не в Вашем основном тоне. *Excelsior*, дитя!» И далее: «В конце концов, ведь мы, хоть и искренне, глубоко верующие, но не церковники, вне самого лона Церкви-матери — своевольники, в лучшем случае — дилетантнишки. Церковь, ее уставы, и *дисциплина* — не пустой звук. Посмотрите, как крепка этим только она. Увы мне! Боюсь, что Вы там нацарапаете о Серафиме, без СМИРЕНИЯ...» И далее не раз: не пишете, ничего не выйдет, — к примеру (декабрь 1919 г.): «Болтаете, как Керенский. Паралич, пора, голубчик, давно уже снова немного в Париж. Очень уж провинциальны становитесь. Не выдержали русской марки долго. Не того Вы закона. Оставьте Серафима. Говорю Вам, что ничего не выйдет. Или выйдет болтовня, а la Эренбург. В феодосийском кабаре, впрочем, все “реабилитируют”». — «Вы удивительный человек, — пишет Волошин в 1918 г. в ответ на подобные филиппики (“апостольские послания”) своего друга, — в Вашем письме все неверно и все пристрастно, но по существу Вы, как всегда, глубоко правы. Ваше интуитивное чувство никогда не обманывает Вас в области отвлеченной истины. Но оно неминуемо сбивает Вас, как только Вы стараетесь конкретизировать свои положения» (СС, 12, 144). Характерно, что Волошин отвечает немедленно в данном случае (повод для филиппики не столь важен), оставив все намеченное («не иду на этюды») — и причина того: если не ответить сразу, то Александра Михайловна может подумать, что он *обиделся*.

Вот ее обобщение (12 дек. 1919 г.): «Письма. Перечитывала многие Ваши, разных годов. Как они прелестны! Как совестно мне от многих становилось: Вы всегда были удивительно терпеливы, терпимы в отношении меня, грубиянки от природы, неотёсы, с этими жалкими мыслишками в сравнении с Вами... Пришибли они меня (то есть письма). Хочется совсем замолчать. Не дергайте меня за язык, пожалуйста! Но я — не могу отречься от того, что в каждый данный момент вынашиваю. Так, как и сегодня Вам». Изумительно в этом могучем и воинствующем ее духе и в ее обаятельной женственной душе происходит характерный переход от своей покаянной ноты — к неизбежному для нее обличению любимого друга в его непониманиях первостепенного для нее. В том же письме ниже гнев с шутливым оттенком: «Чего ради “Литания Богородицы”? Есть у нас слово: — “акафист”. Вы совершенно не чувствуете Православия. На что эта “литания”? У-у, басурман!»

Но с полным приятием (29 мая 1920 г.) — о «Диком поле»: «Одно из Ваших настоящих; переписываю, смакую каждую строфу, каждую строчку, каждый звук...»; «вот это полнозвучно! Какой масштаб! Какой охват!»; «Умница, мое дитятко»; «Душа моя вся, целиком, с Вашими дерзновениями».

3 ноября 1921 года — одно из последних писем, незадолго до смерти А. М. Петровой. Она пишет о неразрешимой драме жизни Волошина — его отношениях с матерью, в которых она, с ее глубоким пониманием происходящего, была всецело на его стороне, при любви и к Елене Оттобальдовне Волошиной. Нужно сказать несколько слов об этом: отношения матери к Волошину — это воистину PRO и CONTRA, но столь глубоко укорененные в судьбе, кармически predeterminedенные и неразрешимые, что анализировать их не представляется возможным. Здесь дышит нечто высшее всех человеческих воль и усилий. В этой женской душе полюса *pro* и *contra* предельны и за гранями земного понимания. Об этом в волошинском стихотворении «Материнство», которое есть попытка творческого воздействия на эти отношения, их просветления. Но Волошин знал больше и однажды лишь обозначил их кармическую тайну — сына и матери: если женщина любит невзаимно, то в следующей жизни она стремится родить этого человека, тогда сначала она достигает удовлетворения, а затем... Волошин употребил слово: распинает<sup>17</sup>. Он обозначил так мучительную и безнадежную подоснову своих отношений с матерью.

А. М. Петрова пишет о Елене Оттобальдовне тепло и сочувственно, тем не менее решительно принимая волошинскую сторону, — и находит утешение для Волошина в знаменательной параллели: «Помните Амвросия? Он с детства не знал дома ласки; этим объясняется его необычайная ласковость к другим, как души великой, великодушной, неспособной к озлоблению. Правда, его счастье: — он мог уйти из дому с ранних лет и расти сам и под руководством родных, его старших, по духу.

Вам этого уже нельзя. Да и раньше нельзя было. Вы — “посвящаемый” в миру, что считается несравненно труднее (Вы не озлобляетесь, а это-то и важнее всего!)». И далее о случайно увиденном волошинском портрете с приемлющей иронией: «с единственной головы и души, выдержавшей Мадраско-Дорнахско-Нижегородское “посвящение”». Так именно Александра Михайловна Петрова называет одно из сокровенных волошинских имен, окрасив это сокровенное легким тоном иронии (как это было и у Вл. Соловьева...). О том же через годы напишет Цветаева. Да, выдержавший — хотя не все в жизненных линиях подвластно воле и посвященного. Но плоды этой важнейшей неразрешенной ситуации — отношений с матерью — значительны: в жизни Волошина не было

любящих невзаимно женщин, этих кармических тягот будущего, он умел, с юности не считая «любовь» (которая есть, как он тогда выразил, требовательность, власть и жестокость) главным чувством к жизни, в ответ на любовь дарить каждой большее — творчество и духовное горение, и «покинутые» им чувствовали себя счастливыми, как Вайолет Харт, которая, выходя замуж, говорила: Макс — бог!

\* \* \*

Какой вывод можно сделать из описанных ситуаций? Сложны, глубоки и подчас трагически неразрешимы пути земных *за* и *против*. Глубоки мировоззренческие разделения и кармически предопределенная чуждость. Но глубже и таинственней основания жизненных *pro* — неизбежных симпатий и верности. Не всегда одолим отрицательный полюс и при глубокой любви — и приятие порой прохватывается резко отрицательными токами. Но любовь может покрывать глубокие расхождения в мысли, созидая нерушимую общность. Трудны порой и осознания заложенного и поволенного судьбой единства — об этом далее. Но во всем многообразии скрещений в жизненных линиях до удивления мало познаваемы обычно их закономерности, сами кармические основания *pro* и *contra*. Удивительна наша обычная слепота, и вдвойне горестно понимание, что даже для самых мудрых и наделенных даром прозрений жизнь с очевидностью ставит неисполнимые задания — например, *contra*, неотложно требующие своего разрешения в *pro*, но, увы, не всегда посильные.

### Еще о полюсе *pro*: кульминация

Как уже отмечено, общая тенденция — изменение отношения к Волошину в послереволюционные годы: *pro* доминирует среди новых знакомых и друзей, оно же рождается там, где ранее было — *contra*. Характерный и яркий пример — Сергей Николаевич Дурылин, литератор, участник символистского и философского движения начало XX века, после революции — православный священник. Он с Волошиным знаком с 1910 года, но с глубокой и преданной дружбой обратился к нему лишь последние 7 лет жизни Волошина, когда, возобновляя линию знакомства, написал ему и получил в ответ мягкую и ровную симпатию и дружеское приятие. Так прежнее скептическое отношение Дурылина, отдаленно знавшего Волошина, обернулось благодарной и теплой дружбой. В 1941 году Дурылин, этот лучший толкователь волошинских имен, вспоминал: «Милый, милый Макс! Он умер мудре-

цом, поэтом, художником, человеком в своем Коктебеле в 1932 году, любимым и оплакиваемым всеми, кто его знал в эти годы — 20-е и 30-е.

А тогда, — совестно признаться, — мы подсмеивались над “горелым, бурым, ржавым цветом трав” в его стихах, над спондеями в его ямбах (Сидоров<sup>18</sup> ухитрился поздравить любезно его с тем, что в его стихах есть “игра спондеями”, — это что-то [от] медвежьего танца), подсмеивались над его парижским пальто, блестящим цилиндром, над его толщиной и бритым подбородком (Садовский даже дерзнул сказать ему: “Вы похожи на Репетилова при разезде на [крыльце]”). <...> Когда я встретился с Максом в 1926 году у него в Коктебеле, — он был другой, — или тот же, но впервые познанный в правде его высокого духа и таланта.

Я написал горячие стихи к этому новому для меня Максиму — мудрецу, поэту, мыслителю, человеку, — и вплоть до его смерти были связаны крепкой дружбой, были на “ты”.

Теперь стихи его, помещенные в этой книге, радуют меня своей глубокой правдой: я знаю теперь, что все в них подлинно: любовь к матери-земле, к ее великой пустыне, к этой “Киик-Атламе костистой”, к южному солнцу — и к великой творческой мудрости, воплощенной во всем этом необозримом окоеме Земли, моря и неба»<sup>19</sup>.

Вот фрагмент из стихотворения Дурылина 1926 года, когда им «впервые познан» Волошин в его «высоком духе»:

И я пришел к тебе на юг. Внимаю  
Твоим речам, и мудрым, и простым.  
Смотрю на дом, на книги: и сверяю  
Твой новый облик с ведомым былым.  
И над тобой, над новым я стою  
Как над осенней плодоносной нивой.  
Каким дождем Господь кропил твою  
Пшеницу волею многолюбивой!<sup>20</sup>

Теперь, когда опубликованы волошинские письма, Волошин предстает перед нами как совершенный и безупречный друг своих друзей в перекрестных зеркалах своих высказываний — для себя ли, в прямом обращении или со словами о своем друге к третьему лицу — единый тон приятия и понимания во всем, лишь при различной дозировке понятого. Ему не приходилось сожалеть и о запоздалом познании правды своих друзей. Дурылин же... — увы, не без призвука горького чувства читаем у этого благодарного и понимающего волошинского друга отголоски былых неприятий, как, например, в следующем фрагменте из статьи В. Топоровой: «Наблюдая взаимоотношения писателей в волошинском доме, — пишет она, — Н. Дурылин записывает: “Макс — многостра-

дальный “гостинник” здешней литературной гостиницы, — и, думаю, за терпеливое несение этого труднейшего послушания ему простятся все его литературные и житейские грехи»<sup>21</sup>. Здесь характерно и формулирование миссии Волошина эпохи Дома Поэта как «гостинничества», и — это осуждающее замечание о «грехах»... Даже в 1928 году, вероятно отвечая на мнение собеседницы, Дурылин говорит не только о Доме Поэта и его высоком назначении, о роли жены Волошина в этой его миссии, но и — не без снисходящего, увы, отношения к другу — в письме В. К. Звягинцевой: «Мария Степановна — гостинница. Знаете, что это значит? Это такое послушание было в женских монастырях: заведует гостинницей: всех принимай, всех привечай, всех устраивай, примиряй, успокаивай, а в то же время блюди монастырское добро, обычай, тишину, свое духовное устройство и пр., и пр. Легко ли это? Послушание это считается одним из самых трудных. Вот вам загадка Марии Степановны. Макс суетливо живет? Верно. Но тогда был бы он не Макс, живи он иначе. В нем есть драгоценные черты, свои, свои, собственные»<sup>22</sup>.

В *суетливости* образа жизни упрекают Волошина и иные, это слово — характерный и едва ли не единственный штрих к позиции *contra*, эти метастазы былых высокомерий у прежних недругов, проникло и в написанное К. Ф. Богаевским, ближайшим, первым другом по длительности, глубине понимания и приятия, по беспримесной дружеской тонкости и трепетности. Эта досада друзей обнаруживается, когда заходит речь о волошинских «людоворотах» летних сезонов в Доме Поэта, хотя кому лучше, чем давним друзьям, таким как К. Кандауров и Ю. Оболенская, сетующим на то же, известно, что в волошинской жизни вторая половина года — полное и глубокое одиночество в его доме на берегу моря в суровых условиях крымских зим, одиночество как *равносильная потребность духа*, а погруженность в *человеческий поток* — это огромный взятый на себя труд, отнимающий многие силы, порой едва переносимый, но несомый как жизненное предназначение.

В сохранившихся высказываниях С. Н. Дурылина, наряду с отмеченным, обращенным вовне и все еще судящим взглядом, все же доминируют точные и при этом восхищенно светлые оценки, например в письме Е. В. Гениевой в Коктебель накануне ареста и высылки: «...поблагодарите еще раз за его чудесное, высокочеловеческое добро. Так и скажите ему. Я еще больше полюбил его и уже не разлюблю никогда. Ах, если б было хоть 10 таких Максов на всю нашу землю! — звезды бы над нею радостнее горели!»<sup>23</sup> С. Н. Дурылин — в поисках волошинского Имени — охватывал разные грани его духа: так, блестящий знаток русской классики, он высоко ценил волошинское творчество: «Единственный всероссийский поэт, — поэт, чьи стихи помнят, ищут,

повторяют, переписывают <...> как учили наизусть и переписывали когда-то стихи Пушкина, Хомякова, Лермонтова...»<sup>24</sup>. Характерна в дружеской верности и коктебельская запись: «Е. Ланн, переводчик и сотрудник разных современных изданий, которого фамилию в Коктебеле в 1926 году произносили по-французски (L'ane\*), говорил Макс по поводу литературной судьбы Макса:

— Вы виноваты в том, что вы не ладили с редакторами. Литература — это то, что издано. Все прочее — не литература. Издано то, что принято редактором. Писатель, не признанный редакторами, не есть писатель: он просто не существует.

Это отвратительно, конечно; и сказано было дружески нахально. Но в самом деле, кто такой писатель? Тот, кто пишет, — или тот, кто издан? <...> Изданное — есть литература (надо бы переименовать название: не литература, а эдитура\*\*, что ли): вот чего хотят Ланны. Это им, конечно, выгодно: они изданы, следовательно, они существуют: они писатели. А изданы они потому, что “ладить с редакторами” считают заповедью для себя. Макс, однако, сам на себе показал, что эдитура не есть еще литература: он — вне эдитуры, но его читает вся Россия.

И Пушкина стихи в печати не бывали, —  
Что нужды? Их и так иные прочитали<sup>25</sup>»<sup>26</sup>.

И важно, что Дурылин ярко и проникновенно смог и успел высказать — не много позднее, а самому Волошину, не избалованному пониманием, в своих письмах из томской ссылки — важнейшее о судьбе Волошина и его духовной личности: «Я горячо благодарен тебе за дружбу. <...> Признателен за каждое твое слово... Удивительные вы люди, ты и М<ария> С<тепановна>. Вы как-то преодолели *время*; вы вырвались из-под силы не ньютоно-астрономической, а более страшного «тяготения», тяготения *эпохи*, и, как свободные кометы, несетесь (это ты-то, толстый и милый!) свободным, а главное: своим! своим! — путем. Удивительные вы люди! Вот, вы — и не кометы. Вы какие-то особые «тела», только не подвластные никаким Ньютонам и законам»<sup>27</sup>. Здесь повторяет Дурылин свою мысль об особом пути Волошина, раскрывая в ней все ее потенции «pro»: «Да, у тебя особая судьба. Конечно, не стихи и не акварели, а *она* — твое лучшее создание, — весь мудрый смысл которого в том, что создание это есть угаданная мысль Создателя о тебе. Это — труднейшее из творчеств, но и высшее из доступных человеку. Я не люблю употреблять слово

\* Осел (*фр.*).

\*\* От: edition — издание (*лат.*).

“мудрый”, именно потому, что люблю его, но, думая о тебе, часто приглагаю к тебе, в твоём пути и в твоём доме, это слово. Мудрость — это знание Божьей мысли о себе, и я безотчетно, но глубоко чую, что тебе дано ее знать. Оттого у тебя — “легкая рука”: ее чуют все, кто к тебе приближается, — все, всех цветов люди — красные, белые, желтые, зеленые и даже — бесцветные. Твой путь — *твой* только, конечно. Ни подражать, ни выучиться ему нельзя, но когда он пересекает другую душу <...> делается хорошо и просторно на душе. Не так теснит время и не так мучит “человеческое, слишком человеческое”!»

И вновь о миссии *гостинника* — об этом волошинском имени, одном из многих, — в общей для Дурылина и Волошина духовной приобщенности к православному подвижничеству (в ответ на волошинские сетования): «На гостинников, исправно проходящих свое послушание, бесы нападают особенно люто, — явно или прикровенно. Гостинничество — это терпение и милосердие; изнутри же это — ведение человек и «человеческого, слишком человеческого»». Ведение человек — действительно дар и труд Волошина. Дурылин умел щедро, с глубоким душевным проникновением выражать одновременно и значимость Волошина в мире, и свое личное чувство к Волошину в мире: «Дорогой Макс! Сердечно благодарю тебя и Марусю за дружеский и ласковый ответ на мое письмо. Поверь, такие ответы помнятся всю жизнь и привязывают к жизни, в то время как все, кажется, отвязывает от нее»; «Я вспоминаю тебя с глубокою радостью, — с покойным счастьем сознания, что есть на свете ты, — и этого уже довольно, чтобы знать, что Человек — еще не переведшаяся особь на земле»; «радуюсь, что думаешь приняться за “записки”. Выйдет отлично. В тебе, в твоём слове, в самом образе твоего бытия есть то, что ты можешь позвать «властительные тени» прошлого, — дела и дни минувшие, — и они откликнутся на этот зов, ибо это будет зов верный приверженности и благодарности. Вспоминать никогда не значит обвинять; вспоминать значит только — прощать и благодарить. Впрочем, оба эти слова обнимаются одним: благословлять».

Православная тональность и тематика писем и всего строя личности волошинского друга не входит в противоречие с антропософским основанием волошинской мысли: так, обсуждение стихов и поэм, касающихся русской святости, в письмах глубокое и пристальное, и замечания Дурылина Волошин принимает, а порой обращается к нему с вопросами как знатоку православной духовности, например соотнося православные и антропософские представления о двух демонах, — в данном случае Дурылин не может подтвердить волошинского предположения о двух именованных духах зла («сатана» и «дьявол») как проявлении их различия в православии.

И в круге имен (*Макс, скажи имя твоё!*), благодаря С. Н. Дурылину, обращаемся к первообразу, соотнесенному с христианским именем: «Поздравляю тебя с днем ангела, — пишет Дурылин. — Ужасно люблю твоего святого из “семи отроков эфесских”, чтимых православными столько же, сколько мусульманами. У меня в Москве есть их икона 17 века»... И в ином письме: «Семь отроков эфесских, — на их числе тезоименитый тебе Максимилиан — были покрыты дивным сном в пещере, — хранительным, жизнеполным сном. Желая и тебе этого сна — покрова на все, что заслуживает забвения и непамятования вокруг тебя и вокруг всех нас. Такой сон — верный помощник бодрствования, умственного и телесного». Так изумительно толкует С. Н. Дурылин житие ко дню памяти семи отроков Эфесских, первый из которых Максимилиан (ст. стиль 4 августа — в эти дни в Коктебеле друзья праздновали именины Волошина). Отроки не были мучимы, но замурованы при императоре Декии гонителями христиан в той пещере, где они скрывались от гонений и где заснули *дивным сном*, чтобы проснуться в дни торжества христианства через два века, а потом заснуть снова, уже до всеобщего воскресения, — сколько символических смыслов здесь можно соотнести с жизнью Волошина. Равно как и в житии св. Максимилиана Тебесского, казненного в III веке за отказ от военной службы, которую он, Божий воин, считал несовместимой с христианской заповедью любви к врагам. И в новую эпоху гонений пожелание друга редкостно по точности, именно *непамятование* о внешнем необходимо было в последнее семилетие волошинской жизни, чтобы выдержать и эти испытания. Вот к примеру одна из драматических ситуаций волошинского последнего семилетия этой поры. Ее глубоко по-православному разрешает Дурылин — этот драматический сюжет с волошинскими собаками, когда, обвиненный в том, что собаки его («вегетарианцы» и «непротивленцы») зарезали десятки овец в местных отарах, он был наказуем штрафами, и история с судами длилась во все новых мучительных коллизиях, а злорадными мучителями и гонителями из местных крестьян стали именно те, кто был многим обязан Волошину и Марии Степановне (в частности, ее медицинской помощи), — в итоге пришлось от безысходности отравить собак. Дурылин разделяет боль друга: «Что ж, запишем еще одно насилье

Бессмертной пошлости людской

в летопись этих насилий, начатую с Адама». О чтении волошинского письма с этой «собачьей» историей он пишет так: «Ирина плакала, слушая письмо, а у меня сердце ходуном ходило от негодования. Принято в таких случаях говорить: “это черт знает, что такое!”, но я думаю, даже черт *не знает*, что это такое?!» — и далее после глубокой эмоции разре-

шающий поворот: «Впрочем, — “простится все Воскресением!” И в тебе, и в Марусе (поистине многострадальной!) много воли к этому. “С высоты взирал на жизнь” — думаю, что в Вас обоих есть нечто от этой редкой добродетели, которую хорошо определил Пушкин. Не будь у тебя этого свойства, ты не написал бы в это тяжкое время ваших коктебельских атмосферических и людских кладов, — “Епифания” и “Герцык”».

«Простится все Воскресением!» — думается, Волошин мог бы о том же сказать антропософски: Христос Воскресший есть и господин кармы. Но подобные разговоры Дурылина и Волошина, увы, не записаны, у Волошина в поздние годы не нашлось своего Эккермана. Сохранились немногие фрагменты волошинских разговоров. Цена утраченного огромна (особенно упомянутых Э. Ф. Голлербахом его записей разговоров с Волошиным), но более чем понятны и причины: хранение стихов Волошина стало основанием (этот факт дан в одной из статей сборника) смертного приговора Даниилу Жуковскому, одному из тех, кто любил и понимал Волошина последних лет — «за него и погиб».

О многих волошинских испытаниях этой полосы русской жизни в подтексте поздравительного пасхального письма Сергея Дурылина:

«Христос Воскресе! Милый Макс, поздравляю тебя и Марусю со светлым днем, по-прежнему воскрешающим сердце, вопреки хмурой зиме нашего бывания.

В эту весну, после такой страшной, ледяной зимы и обступившего вас человеческого льда, Вы с Марусей, наверное, особенно благодарно и живо воспринимаете весну, — голубую, как всегда, золотую <...>. Какое счастье, что это не зависит от людей! Это теперь моя постоянная мысль: я все твержу: какое счастье, что приход весны, цвет неба, облаков, направление ветров, стремление волн, аромат цветущих маслин, время цветения не зависит от людей! Какое безобразие и мерзости учинили бы они, если бы все это было в их власти, — такое безобразие, такую карикатуру <...> что сам “ад всесмехливый” на минуту перестанет смеяться и призадумается: не слишком ли уж это безобразно?». Но в связи с этим письмом важна и волошинская восполняющая, по-своему, реплика — как образец незаписанных, не дошедших до нас диалогов: «Конечно, это большое счастье, что люди не имеют власти над сезонами. Но некоторое постоянное соответствие между течениями человеческой жизни и отступлениями от норм природы — есть. “Погода” всегда является отдаленным аккомпанементом исторических событий и состояний...» (СС, 13–2, 101) — далее Волошин разворачивает соответствие между двумя страшными советскими годами.

Вот еще одна кульминация в тональности «рго»: «Ты сделал самое трудное в жизни: благословил бытие в каждом веке, год, день и час

его, — и благословенно поэтому *твое* бытие — человека, поэта, художника, мыслителя. Тебе дано широкое и глубоко сердце, емкое сердце — и, больное и страдающее, оно живет во всех нас, любящих тебя, благодарных тебе и благодарящих за тебя!

От всей души желаю тебе здоровья — и крепко благодарю за ту ласку и тот привет, которым всегда дарил ты меня. Мои чувства эти разделяют сотни людей, любящих тебя. <...>

Еще раз целую тебя — и люблю горячо, благодарно и вечно.

Твой Сережа. Да хранит тебя Христос».

Этим постижением волошинской духовной личности, ответом на вопрос «Кто?», — а ответа искал и сам Волошин в течение своей жизни и был удостоен: услышать наилучший ответ из уст друга — можно завершить обзор целого спектра волошинских прижизненных отражений.

Вспомним еще раз дурылинские слова: понимать — значит принимать и благословлять. Это по-волошински: он сам был мастером приятий, мастером молитвы и благословения. Он взрастил в себе дар радости каждому человеку, которого посылает судьба, и приятия *объективного*, бесстрастного созерцания его вместе с его истиной, дар видеть душу (и карму) каждого, а значит, и каждое мировоззрение, верное со своей точки зрения для конкретного человека и в своей области бытия. Он умел принимать как частичную истину проживаемое тем или иным человеком, — но сам стоял над ними, или же, словами одного из авторов сборника, мог принимать дары каждого мировоззрения, соответствующего 12 знакам духовного зодиака, общающихся душам предрасположение к той или иной точке зрения (их также двенадцать: материализм, сенсуализм, феноменализм, реализм, динамизм, монадизм, спиритуализм, пневматизм, психизм, идеализм, рационализм и математизм — так типы мировоззрений означены Рудольфом Штейнером). И именно поэтому в Волошине и его творчестве каждый находит близкое себе; так, на противоположных полюсах: и материалисту, и спиритуалисту не чужды волошинские идеи, например в цикле «Путями Каина», а также и в жизни, в живых беседах с ним в поздние годы, когда способность к всеохватности кристаллизовалась в Волошине и давала свои щедрые жизненные плоды. Цветаева: он — ВСЁ. Всё для всех. И в эти годы нечто высшее, чем просто и только человеческое, многие чуткие души ощущали в Волошине; кажется, нет человека, который оказался бы в жизненном круге Волошина и поставил бы себя в положение *contra*. Последним был — И. А. Бунин, воинствующий и односторонний сенсуалист. Полюс *contra* просто изжил себя — через волошинское творчество — художественное и духовное.

## Итоги

Теперь стоит проверить основной принцип «*pro et contra*», насыщенный экзистенциальными смыслами, через усиление до предельного напряжения: «за» и «против» — в отношении к Первообразу Человека. Что это, как не полярность: свет и тьма в их борьбе — рядом со Светом, светящим во тьме мира. Свет приемлется отражающим светом, усиливая его неполное свечение, и отторгается тьмой. О Нем же сказано: «Он не был “да” и “нет”; но в Нем было “да”, — Ибо все обетования Божии в Нем “да” и в Нем “аминь”...» (2 Кор 1, 19–20). Не случайно рассуждение наше от «контра» движется к «про». И для человека по отношению к другому человеку мерой приверженности к Свету и чистотой и точностью зеркала измеряется его «Да» во всей созидаемой игре отражений (*pro* и *contra*) в каждой конкретной личной ситуации, ведь живой человек в мире, творческая личность с ее самоопределением, уже по факту человечности несет в себе оба начала. И Волошин ценил в человеческой судьбе прежде всего напряженность проживаемых им антиномий. Внутренняя борьба двух начал сталкивается с борьбой внешней — и в этих причудливых зеркалах зеркал выявляется некая сложная картина. Согласится ли читатель с итоговыми обобщениями: еще прикровенный волошинский свет отзывался в *взбаламученно-люциферических душах Серебряного века насмешкой над его странностью и необычностью... над несовершенствами его бытия в земном и телесном, лишь постепенно претворяемом*. Но были и удивительные ноты глубоких приятий, чистые ноты *pro* и в ранний, и в поздний волошинские периоды, особенно во второй половине жизни, когда свет, обретший свою силу, уже собой владеющий, делается очевидным для всех и создает себя, свою жизнь, свое творчество художественное и — творчество душ, плод которого, Дом Поэта, — духовный центр взаимоприятий, сам стоящий всецело под знаком *pro*.

Но труднейшее в волошинской жизни *pro* наименее открыто нам — еще одна и самая глубокая грань размышлений в формате *pro et contra*, когда объектом рассмотрения под этим знаком становится — сама жизнь, сам мир в этой воистину «моровой» полосе русского духовного восшествия, ради чего и был выбран *час рожденья*. Приятие духа времени в труднейшем его лике — так ставится задача восьмого семилетия волошинской жизни, итогового семилетия, им самим не описанного. Кажется, это была почти непосильная задача. Война, Революция — в эти семилетия (так обозначенные в жизнеописании Волошина) волошинский гений находит свою уникальную позицию, на своей вершине, обретает художественное воплощение исторического *часа*, и мы уже

хорошо видим и понимаем Поэта в эту трагическую полосу истории: «...в ту весну Христос не воскресал...» — говорит поэт о кульминации испытаний, о страшном годе красного террора в Крыму<sup>28</sup>. Даже сам Коктебель, неизменный источник жизни, даривший своему поэту приятие мира и в самый *трудный лично* год 1907, — теперь источник иссякает, душа не реагирует на внешнее, и лишь постепенно возвращается к Поэту *способность видеть красоту неба*. Но далее огромность русской трагедии, величайшее напряжение духа в ее проживании, понимании, в молитве и заклинании зла, спасение жизней как насущное ежедневное дело — сменяется новыми реалиями в последнем незавершенном волошинском семилетии.

О последнем семилетии сказано немного — когда безостановочно входящее в силу зло множится — «в наши дни всякое зло прорастает с удесятеренной силой» (СС, 13–2, 71), — обывовляется, делается ежедневным и беспросветным, обездушивающим, уничтожающим жизнь изо дня в день. Это вершинное семилетие — *затвор*, молчание, *замкнутые уста*, — эти слова употребляет Волошин. Монашеские, церковные ассоциации все чаще в эти годы, «Мне чудится, что Вы монахах...», — сказала Аделаида Герцык еще в 1911 году. И теперь на его *пустынный затвор*, на его *келью*, многочисленные *бесы*, которых он умел различать и которым мог противостоять, ополчаются неустанно. Уже не общая угроза *всем нам*, — *пули в затылок* или *штыка в живот*, но — далее привожу подробности писем и дневниковых записей. Это не прекратившиеся до конца попытки властей, местных и прочих, отнять дом, раскулачить, *ликвидировать как класс* (по волошинской горькой шутке), угрозы, штрафы, наветы, суды, регулярные денежные обложения, постоянное *хождение по острию бритвы*, голод — все эти годы (так что в 1932 г. у Марии Степановны полное истощение, «острое малокровие (на грани злокачественного)» (СС, 7–2, 199), нищета самая отчаянная (заметная всем), постоянная угроза ареста и высылки — и более страшное: многочисленные (перечислены ли биографами эти имена — полным списком) аресты, расстрелы и ссылки близких друзей, у всех личные трагедии, утраты, смерти, постоянная тревога за тех, кого *пока не коснулось*, у иных — трагические компромиссы с властью, неизвестность о многих. Литературная травля — особая тема этих лет, доносы и проработки в печати целого ряда близких. Все это — замечает Волошин — имеет явные признаки *религиозного* гонения. Мучительность не только кампании в прессе и своей отверженности, исключенности из литературы (бывало и прежде), но сама пресса с ее удушающим скудоумием и злобностью. Тоска просто по культурности (даже по французским журналам с их благородным отношением к творчеству, столь ценным для Волошина). А вот бытовые «текущие местные

новости» 1932 года: штрафы, наложенные на таких-то друзей — в сотню рублей, «батюшку обложили 500-стами рублями — обычная весенняя борьба с «классовыми врагами»» (СС, 7–2, 204). И надо помнить, что, словами Волошина: они с Марией Степановной проживают не *личную жизнь, но живут жизнью своих друзей*. Кажется, действительно стала труднейшей эта последняя задача — приятие и такого мира, сохранение творчества и в нем. Волошин констатирует: *совершенно угасла всякая «сопроставляемость» современности*, угасло творчество, наступает старость — а ведь ему немногим более пятидесяти лет!

Впрочем, так он воспринимался и после сорока — в годы красного террора. Волошин в своих лекциях рассказывал этот сюжет: он стоит на коленях перед иконой и молится, входит комиссар: «Что ты делаешь, старик?» — «Молюсь». «О ком?» — «О тех, которых ты убьешь сегодня, и за тебя!»... *Старик...* Сколько жизней отмолил он? Скольких спас впрямую, получив, например, *в подарок*, от этого комиссара. Но война закончилась, террор позади. Казалось бы, в уже «мирные» 20-е годы самое страшное позади и должны бы схлынуть бедствия, — нимало. Вот еще черты этого семилетия «страстей» волошинских, нескончаемых в своей каждодневной тяготе: большая *тоска* (повторяется нередко это ранее совершенно не-волошинское слово), безлюдье, оскудение писем — из-за *внутренней цензуры*, в итоге *страшная тоска по человеку*. Тоска и невозможность творчества связываются с тем, что «низшие области жизни и деятельности», которые должны быть автоматическими, непомерно разрастаются: «...на все и во всех случаях (самых обыденных) нужно находить свой (трагический) ответ. Ответ всем существом. Судьбою. Не словами. А ставя на карту все существо» (СС, 7–2, 195). «Острая безвыходность без всяких внешних и катастрофических причин» (СС, 7–2, 193). Вдруг власти *не дают* керосина или *отказывают* в продаже хлеба... Или почему-то *нельзя*, по чьему-то решению, купить рыбы. Бессмысленные и категорические отказы и распоряжения. Вокруг — *общий разгром*, новые и нестерпимые лица советских нуворишей и функционеров. Изматывающая и оскорбительная история с дарением дома союзу «писателей» (кавычки волошинские). *Эгоистическая тупость, которая убивает кругом все живые ростки живой жизни, вокруг разрушение и смерть*, а внутри — *общий ущерб, вкус смерти на губах*. Коктебель стал *очень глухой и далекой ссылкой*. *Нищета и ущерб* таковы (это 1931 год: этот год был ужасен — еще одно, совсем не-волошинское слово), что *нечего* дать пришедшей голодной собаке. Наконец, умерщвление пейзажа, неотъемлемого от души, взрывы на Карадаге — *индустриализация в коктебельских горах*, каждый взрыв — живая рана и *сердечный приступ*. *Духовная усталость*. *Угашение духа*. Невозможность дышать — это физическое

состояние воспринимается *в его сущности*: «...я задыхаюсь за целую группу людей, у которых нет воздуха»<sup>29</sup>. Вот исход — Волошин говорит Марии Степановне (записано ею): если отнимут дом... «ну что, тебе дома что ли жалко?.. Ты подумай: возьмем котомки и пойдем ходить по России, как мы с тобой мечтали!»<sup>30</sup>. Или о Марии Степановне: она «все уговаривает меня: “Давай повесимся вместе”. Но я прошу *пока отложить*» (СС, 13–2, 255). О смерти одного из друзей: «Невольная мысль: “Счастливцев... От скольких оскорблений... болестей... и компромиссов он избавлен теперь...”»<sup>31</sup>. При воспоминании об уговорах повеситься: и это исход, но «лучше “расстреляться” по примеру Гумилева <...>: написать несколько стихотворений о текущем, о России по существу. И довольно. <...> И писать обо мне при этих условиях не будут. Разве через 25 лет?». Ведь *личная катастрофа* — это спасение. И принято решение — стихи разойдутся в списках быстро — «пока ничего и никому об этом не говорить. Но стихи начать писать» (СС, 7–2, 196). *Через 25 лет?* — Волошин на этот раз не угадал: писать будут через 50 лет.

В эту темную эпоху земного бытия, в период богооставленности, когда отшельник готовится к своему мученичеству (и по версии одного из авторов сборника для того и пишет свои поэмы о святых), единственное средство противостоять духу уныния и безнадежности — *молитва и пост* («чувствую настоятельную потребность взять себя в руки и поднять дух постом и молитвой и вновь зажечь в себе “творческое горение”» (СС, 13–2, 238–239). И вот описание дня Поэта в волошинском письме 1931 года С. Н. Дурылину:

«Мой день начинается борьбой с унынием: хожу по отмелям моря (увы — почти ежедневно дождливым и туманным) и горячо *молюсь*, глядя на север, откуда всегда тянет холодным русским ветерком. В этих однообразных утренних (гигиенических обязательных) прогулках мне известен каждый камушек, каждая случайность на моей тропе, и я с ними ежедневно переглядываюсь. Как со старыми знакомцами. (В отправленном письме добавлено: “...и на каждой остановке молюсь за определенных <?> людей”. — Т. К.)

Когда возвращаюсь домой, Маруся меня встречает деревенскими новостями — всегда тошными, тесными и душными, которые ей прин<ос>ят бабы с молоком и др<угими> пищевыми (все более скудными) продуктами.

Потом я раскрываю тетрадь со стихами или акварельными красками и продолжаю думать уже с пером или кисточкой в руке. (Добавлено: “Но эти часы мало производительны”. — Т. К.)

Когда смеркается, иду опять в ту же прогулку, на ту же молитву. Вечером мы читаем вслух Достоевского, Ключевского, Ин. Анненского (статьи), а Маруся вяжет. Перед сном М<аруся> раскладывает пасьянс или гадает, на кого-нибудь из друзей, о ком мы особенно беспокоимся в данный момент.

Так проходит и заканчивается день». (СС, 13–2, 246–250.)

И это не просто проживаемый по-христиански день в это семилетие беспросветных исторических бедствий, — но тысячи таких дней, наполненных молитвой и борьбой за творчество и просветленность духа, дней коктейбельского затворника, который в 27 лет думал о смерти как о «высшем подъеме» жизни и вдохновения (СС, 7–1, 148), а умирая, сказал: «Родиться и умереть — это так просто»<sup>32</sup>. То, что духовно согласие на смерть им было дано и решение о том принято, внимательные его друзья заметили по тому, что он принял свою болезнь и смиренно умирал и кротко терпел все тяготы этого *последнего сказанья*; об этом написала, например, Л. А. Арнс: «Творчество ушло, и жить Максимилиану Александровичу было незачем. Зачем ему было жить? И он стал умирать, совсем не сопротивляясь болезни»<sup>33</sup>. Можно сказать, что волошинская молитва и борьба за духовно творческое бытие не увенчалась победой над полностью исчерпанным, изжитым телесным ресурсом, сожженным в непрестанном горении трудов и дней — и оставалось только дело: прожить собственную смерть. Было ли в ней *вдохновение*? Он говорил что-то, старался высказать, но понять его не могли. Лик его смерти отражается в посмертной маске не как усталость или страдание, но — как спокойствие совершившего должное — и в жизни, и в творчестве, и в спасении многих и многих жизней. Как отрешенность завершившего то, ради чего *выбрал он час рождения и место* его. И здесь автору этой статьи и составителю этого тома позволительно дать свое итоговое суждение о духовной личности Волошина — свой ответ на вопрос об Имени, и лучше всего — словом Цветаевой из «Живого о живом», ее интуитивным проникновением, вскользь и недоговоренно сказавшемся в связи с фактом назначения пенсии Волошину (в последние месяцы его жизни) — от большевиков (врагов), впрочем, повод вполне случаен для неслучайного цветаевского слова: «Макс, которого как-то странно называть христианином, настолько он был *все, еще все...*». Волошина нужно назвать именно *христианином*, ибо христианство — ВСЁ. Он и есть: да, праведник, христианин. Здесь следует уточнить сказанное устрашающе весомыми словами Гёте: «Вы знаете, как я почитаю христианство, или, может, Вы совсем не знаете этого; кто же сегодня христианин, каким его хотел бы иметь Христос? Пожалуй, я один, хоть Вы и считаете меня язычником»<sup>34</sup>. Эти же слова — думается, можно сказать и о Волошине.

<2017>

